



ВСПОМИНАЙ
НЕ ВСПОМИНАЙ

(ЛУЧШИЕ ГОДЫ НАШЕЙ ЖИЗНИ)

Если б не этот колючий, пронизывающий насквозь ветер, было бы еще как-то терпимо, но ветер буквально сковывал, кинжалом резал по ботинкам и обмоткам. Потная спина соприкасается с задубевшей шинелью, при каждом движении тебя бросает то в жар, то в холод... Ледяной поток свободно прогуливается по всему телу, рука немеет от однообразного движения: вперед-назад, вперед-назад...

Бревно перекачивается на козлах, распиливаем его вдвоем с таким же, как я, задержанным гарнизонным патрулем. Он, чудака, сбежал из училища без увольнительной, просто так - захотелось пошляться по центру города... Абсолютно городской парень. Ленинградец. Сбежал, чтобы «понюхать городского запаха», как он сам выразился. «Ленинград, - говорит он, - обладает своим, ни на что не похожим запахом. Особенно это чувствуешь, когда возвращаешься домой после долгого отсутствия». В общем, что говорить! Попались мы совершенно по-дурачки. Нас привели в гарнизонную комендатуру, естественно, не покормили и отправили на берег Волги пилить дрова для этой самой комендатуры. У меня-то хоть была цель, когда я без увольнительной перемахнул через забор училища, за которым постоянно торчали старухи, как нахохлившиеся вороны. Они продавали всякую чепуху, в том числе и самосад. Чтобы его купить, приходилось две-три недели собирать крохотные щепотки сахара - его нам выдавали на завтрак и ужин, на этот сахар выменивали граненую рюмку корней самосада...

Ну вот. Я, значит, неожиданно получил от старшей сестры из Душанбе, куда она эвакуировалась со всей семьей, шестьсот рублей и, не раздумывая, пе-

ремахнул через забор, вскочил на подножку трамвая и через каких-нибудь десять минут был на знаменитом Сенном рынке города Саратова. Я там никогда раньше не был, потому что с того самого дня, когда нас пригнали в военно-пехотное училище, я видел Саратов только тогда, когда нас строем вели через весь город в баню. В училище своей бани не было. Вообще-то училище было не достроено - началась война. Так что стены в казарме были не отштукатурены, голый кирпич сиротливо жался неровными рядами друг к дружке; зимой же кирпичи обрастали густым слоем инея, который постепенно превращался в снег толщиной в два-три пальца. А казарма - это огромное пространство, в котором располагался учебный батальон, - три роты по сто двадцать курсантов; двухэтажные нары и всего одна круглая металлическая печь на всех. Пробыться к ней не было никакой возможности, чтобы хоть чуток просушиться после целого дня занятий на морозе... Наш командир роты капитан Лиховол любил иногда появляться после двенадцати ночи, когда мы только-только успевали согреться, прижавшись друг к другу, накинув на себя сверх одеял еще три шинели. Тут-то Лиховол и появлялся. Вдруг раздавался душераздирающий крик дневального: «Тре-вога-га-га!!» Невдалеке от училища было кладбище, за ним - овраг, засыпанный снегом. Его-то и надо было преодолеть и уничтожить «противника» на противоположном краю оврага. С криками «Ура-а!», утопая по пояс в снегу, где-то в начале второго часа ночи вышибали «невидимого врага», промокшие до нитки возвращались в казарму... Но пробиться к этой круглой металлической печи не было никакой возможности...

Особенно трудно было привыкать к нелегкой курсантской жизни первые недели учебы. У многих новобранцев то ли от слабости, то ли от недоедания, постоянного недосыпания случалось недержание мочи... Стоило нам чуть согреться, как кому-то из нашей тройки приспичило бежать до ветру. Туалет стоял метрах в двухстах от казармы, донести мочу на такое расстояние никто не мог - в лучшем случае успевали добежать до первого этажа, распахнуть входную дверь, высунуть свой брендспойт и... К утру вокруг парадного входа в корпус образовывалось многослойное, желтовато-бурое с прожилками светлого льда поле. Каток!.. Так что пробиться к печке, чтобы хоть как-то просушиться - неосуществимая мечта.

...Значит, я с этим переводом на шестьсот рублей от старшей сестры перемахнул через забор. Всю дорогу от училища до рынка в голове крутилась одна и та же мысль: сейчас куплю буханку хлеба, хлеба, хлеба!.. И вгрызусь в нее, в этот дурманящий душу аромат, недосыгаемый и такой желанный. Вдоволь насытиться именно хлебом - единственная мечта всей жизни. Не надо никакого там шоколада или еще чего-то там. Нет. Насытиться хлебом, его выдавали нам так мало, так мало... Садятся за стол двенадцать молодых, голодных как волки курсантиков, а на столе маленькая, сыроватая с торчащими иглами нечищеного овса буханка, и эту буханочку надо разделить на двенадцать равных частей. Ниткой вымеряется длина буханки, ширина, острым ножом она делится на двенадцать частей. Один из курсантов отворачивается, старшина тычет пальцем в ломтик хлеба, спрашивает: «Кому?» Отвернувшийся, не глядя, называет первую попавшуюся фамилию, и каждому кажется, что ему-то как раз и попался самый маленький ломтик.

...Захожу я на этот Сенной рынок города Саратова, в кармане шинели рука сжимает шестьсот рублей, - это чтобы не выхватили, - покупаю вот такую буханочку хлеба за четыреста пятьдесят

рублей. Разламываю ее на две части, прячу в карманы шинели. Думаю: «Вот сейчас съем одну половину, а вторую оставлю на завтра». Иду и выщипываю по кусочку, глотаю не прожевывая. Так, мне казалось, скорее наступит сытость. Мы и во время обеда первое съедали только жидкое, потом густое смешивали со вторым, крошили туда весь ломтик хлеба и все это месиво проглатывали большими порциями... Ну, в общем, не доходя до ворот рынка, я не заметил, как съел и вторую половину хлеба. Тут меня и застукал гарнизонный патруль. Как я ни старался объяснить капитану с красной повязкой на рукаве шинели, что я давно не ел досыта хлеба, что я впервые в самоволке, потому что моя старшая сестра прислала мне шестьсот рублей и я без разрешения перемахнул через забор училища и так далее и тому подобное...

Ну ладно, напилели мы с Райским (так его звали) дровишек. Чудак, ей-богу! Я-то рванул за хлебом, он же просто так - захотелось пошляться по городу... Надеялся подцепить какую-нибудь девочку. Райский этот, оказывается, был уже этим... У него уже была женщина. За месяц до войны их класс был на уборочной. («Товарищи колхозники! Поможем студентам убрать урожай!») Вдова. Правда, молодая. Все угощала парным молочком. И так случилось, что Райский остался у нее ночевать. После молочка вдова достала соленых огурчиков, нажарила картошки, выпили что-то крепкое и мутное, и он остался ночевать. Всю ночь его разыскивал отряд, а он в это время как раз занимался любовью с этой женщиной. Звали ее Нюрой. Поначалу ему было страшновато прикасаться к Нюре, он краснел, весь дрожал... И сразу у него ничего не получалось. От этого он сильно переживал. Нюра его успокаивала, говорила, что впервые такое случается со многими. Потом Райский уснул в ее объятиях, уткнулся коленями ей в живот, как щенок, а проснулся Рэм (так его звали) оттого, что он уже на Нюре занимается любовью... Как это

случилось, он не мог найти объяснения, но факт остается фактом: Нюра как-то так сделала, что он оказался на ней...

Ну ладно. Был грандиозный скандал, успели ведь сообщить родителям: так, мол, и так - пропал ваш сыночек. Утром, когда он, этот Рэм, заявился, пришлось перезванивать родителям, успокаивать их, мол, явился ваш сыночек... Рэма в этот же день отправили домой; он так скучал по Нюре, что взял и написал покаянное письмо: попросился снова на уборочную... Но тут как раз и началась война.

Все это мне рассказывал он после Волги, когда мы лежали на гауптвахте - так, знаете, сырой полуподвал и зарешеченные окна. Он все бормотал, а я думал о своей незнакомке. Не мог забыть ее глаза, серые, огромные и широко расставленные, хоть бери и рассматривай их по отдельности... Да, я как раз познакомился (если это можно назвать знакомством), когда перемахнул через забор училища с почтовым переводом на шестьсот рублей от старшей сестры.

Я не знал, где тут почтовое отделение и какой-нибудь рынок. И только я перемахнул через забор, вижу - идет ОНА! Первая попавшаяся. Я спросил ее. Она объяснила. За это короткое время я успел ее рассмотреть: глаза, волосы - копна соломенных волос, - аккуратный носик и пушистый воротничок вокруг шеи. Но спросить ее имя и всякое другое не решился, потому что дурак. Где мне ее теперь искать?! Что ж мне теперь, каждый день прыгать через этот забор и торчать на этой маленькой, горбатой улочке в надежде, что она вдруг появится?.. А может, она вообще живет в другом районе города Саратова, а здесь оказалась случайно: была у подружки или по делам... Рэм все талдычил про свою Нюру, а я не мог уснуть, все думал о «своей» незнакомке, которую, как сейчас понимаю, потерял навсегда. Надо было задержаться хоть на минутку, глядишь, узнал бы ее имя, где живет, может, даже свидание назначил... Так нет же! В глазах торчала буханка

хлеба. Я ее поблагодарил, вскочил на подножку трамвая и... Да что теперь говорить - проворонил, сиди и кукуй!

Вообще-то Рэма призвали в армию из Астрахани. Он сам, оказывается, астраханский парень. Про Ленинград он наврал. Утром, когда нас освободили, он признался, что никогда не был в Ленинграде, но всю жизнь мечтал увидеть этот город, который он знал как свои пять пальцев. У него был альбом «Виды Ленинграда», ему отец подарил этот альбом. А сам он родился в Астрахани. Их семья всю жизнь кочевала, отец военный, подполковник: и в Архангельске жили, и где только не жили! Отец на Халхин-Голе воевал и на финской, а спустя три месяца после начала большой войны они с матерью получили похоронку. Отца убили где-то под Смоленском... Потом, когда Рэм из пулеметного батальона перебрался к нам, в минометный, мы с ним крепко подружились: он, Юра Никитин и я. Рэм по ночам, перед сном рассказывал нам нескончаемую историю про какого-то испанского разбойника Азоло де Базана, его интересно было слушать. Или про пещеру Лейхвиста... Вот завалимся на нары после тяжелого морозного дня, угреемся - Рэм посередке, а мы с Юрой Никитиным по бокам, - и слушаем про Азоло де Базана... Такой начитанный парень оказался, мы крепко подружились. И каково было наше изумление, когда старшина на утренней переключке назвал Рэма Райского Ивановым! Он, оказывается, был Иванов. Сергей Иванов! Вот те на! Мы долго смеялись и про Рэма быстро забыли. Сергей стал как-то ближе. А то - Рэм?! Вот прижмемся друг к другу на нарах, накинem шинели поверх легких одеял и слушаем про красавца, любимца всех женщин Испании Азоло де Базана. Наша тройца была неразлучной. Сергей бормочет, и под его бормотание мы засыпаем... Сергей был большим выдумщиком, фантазером. Вначале он признался, что его настоящее имя не Рэм, а Вилен. То есть Владимир Ильич Ленин. Но ему это имя не

нравилось, и он придумал себе более яркое, короткое, как гонг: Рэм. Его мать играла на гитаре. Она пела в основном старинные вальсы под гитару. Сергей запомнил их, он напевал нам эти вальсы и сам кружился по казарме. Он и стал в нашей роте лучшим запевалой. Вот идем зимой в столовку, конечно, в одних гимнастерках (мороз градусов пятнадцать! Это для закалки), уставшие, голодные, мечтаем скорее бы добраться к еде, а тут старшина командует: «С места с песней шаго-ооо-м арш!» Молчок. Тогда старшина (звали его Панасюком) командовал: «Прожектор! Ракета-аа!» По этой команде мы шлепались на землю, замирали. «И не шевели-иисы!» - орал Панасюк. И снова: «С места с песней шаго-ооо-м арш!» Сергей сжал губы, молчит. «Запевай, гад! Жрать охота!» - гаркает кто-то в строю. И Сергей, наконец, поет: «Скажи-ка, дядя, ве-е-дь не даром, Москва, спале...» «Москва, спаленная пожаром», - подхватывает рота. «Фра-ан-цу...» - поет Сергей. «Францу-узу отдана», - в сто двадцать глоток несется по всему училищу. «Ведь были ж схва...» - Сергей. «Ведь были ж схватки боевые»... Панасюк - мужчина лет тридцати. Злющий, как Малюта. Его не любили. Однажды Сергей вместо строевой запел: «Утомленное солнце-еее...» И вся рота подхватила: «Нежно с море-еем проща-аалось». «В этот час ты призна-аалась», - Сергей. «Что нет любви», - вся рота. «Отставить! - орет Панасюк. - Давай строевую!...» За малую провинность Панасюк наказывал по полной программе. Однажды (это случилось в самом начале жизни в училище) он сделал мне замечание, мол, у меня малая лопата подзаржавела. Я сказал, что с ней ничего не случится. Что я есть хочу, Панасюк освободил меня от занятий и заставил выдраивать сто двадцать малых лопат всей роты. Песком, сдирая кожу на руках, я двое суток чистил лопаты, пока они не стали блестять, как яйца у мерина.

Но, что бы я ни делал, чем бы ни занимался, в голове назойливо сверлила

одна и та же мысль: как найти «мою» незнакомку, девушку с копной соломенных волос из-под вязаной шапочки и широко расставленными глазами. Дело дошло до того, что я ухитрился после отбоя потихоньку выбираться из казармы и подолгу стоять на этой горбатой улочке, на которой встретил ЕЕ. Топчусь на одном месте, гляжу вдаль: слева длинный забор училища, справа - хилые деревянные домишки, утопающие в сугробах. Но нет. Она не появлялась. Тишина. Темнота.

Шли тяжелые бои в Сталинграде. Нас стали кормить из рук вон плохо: утром - каша, в обед - капуста, а вечером – тушеная капуста... И вот – чудо: меня и Сергея назначают дежурить на кухне. Всю ночь колом дрова, носим воду, моем посуду, чистим котлы. Зато утром дали вдоволь перловой каши - «шрапнель». И вот посылают нас с буфетчицей в город на хлебозавод за хлебом. Стоим мы с Серегой в будке, качаемся в темноте по ухабам в предвкушении - уж на хлебозаводе-то угостят хлебом. Как говорится, сам Бог велел! Наконец машина замедляет ход, в будку проникает до боли желанный запах хлеба. Он окутывает нас со всех сторон, полной грудью вдыхаем его запах, ноздри раздуваются... Машина замирает. Распахиваются дверцы и... У борта стоит буфетчица.

- Вот что, ребята, - говорит она. - Я буду подавать вам по две буханки и буду считать. В училище таким же способом буду у вас принимать. Так что не вздумайте на обратном пути колупнуть там хоть кроху. Поняли? Иначе губа вам будет обеспечена.

И вот испытание: сидим на хлебе, шарим пальцами по хлебу, ищем какой-никакой пупырушек на буханке, задыхаемся от дурманящего запаха, ласкаем то одну, то другую буханочку; вот она рядом, а не укусить, не отщипнуть...

Я почувствовал себя таким маленьким-маленьким. Точно уж не помню, сколько тогда было мне лет. Ну, не боль-

ше семи. Значит, сижу на ступеньках нашего крыльца, жду, когда она появится. Напротив нашего крыльца - их крыльцо. Соседи. Она там живет. Эта девчонка так мне нравилась. Звали ее Лизой. Мог часами просиживать на этом крыльце, надеясь увидеть ее. Такое занятие отвлекло, исчезло чувство голода. Хлеба давно не видел. Забыл, как он выглядит, я уж не говорю о запахе... В то время голод косил людей как мух. Однажды иду вдоль забора «Заготзерно» (там давно никакого зерна не было), ковыряю босыми ногами густую пыль. Вдруг слышу - орет ребенок. Оглядываюсь. У забора сидит изможденная женщина - кожада кости, - лицо серое-серое, обеими руками держит огромную крысу, вгрызается зубами в ее животик, ест с наслаждением. На коленях плачет крохотное дитя, заматанное в лохмотья. Но женщине не до ребенка. Она упивается свежим мясом, потрошит грызуна, только хвостик мотается туда-сюда. Как ей удалось поймать такого крупного зверька? Заливается слезами дитя, женщина ест крысу. Голод.

Когда я поднял глаза, вижу: сидит Лиза. Сидит себе на крыльце, на меня не смотрит. Двумя руками держит огромный шмат белого хлеба, густо смазанный сливочным маслом. И хоть она мне очень нравилась, но сейчас я не мог оторвать глаз от этого куска хлеба, смотрел, как она своими зубками откусывает маленькие кусочки хлеба, долго их разжевывает, смотрит в сторону, у меня слюнки текут, а она на меня не смотрит. Неожиданно на крыльце появляется ее мать - сухопарая блондинка на высоких каблуках, хватая Лизу за руку:

- Я же тебе говорила, во двор не выходить! - глянула злобно на меня и утащила Лизу в дом.

Спустя недели три, после принятия присяги, на утреннем разводе к нашей роте подошел замполит батальона капитан Новиков.

- Комсольцы! Члены ВЛКСМ, поднимите руки! - скомандовал он.

Лес рук взметнулся вверх.

- Отлично, - говорит комиссар. - Значит, так: кто из вас подаст заявление о приеме кандидатом в члены ВКП(б), будет отпущен домой для получения рекомендации от члена партии, который знает вас не менее года. Ясно?

Надо было быть последним олухом, чтобы упустить такой шанс: оказаться на воле несколько дней, повидать родителей, появиться в далекой деревне в военной форме, встретиться с девчонками...

- Кто из вас решил подать заявление, выйти из строя!

И сто двадцать гавриков, как один, сделали шаг вперед. Так я и Сережа Иванов стали членами великой партии большевиков. А Юре Никитину некуда было ехать - его детдом, где он вырос и призвался в армию, эвакуировался в Среднюю Азию.

Невдалеке от ненавистного нам оврага, находился пустырь, на котором наш взвод постоянно занимался строевой подготовкой. Это место облюбовал наш командир взвода Володя Добров. Он был старше нас всего на два-три года. После окончания училища его оставили преподавателем.

Спустя много-много лет у меня была творческая встреча в каком-то полузакрытом институте. В конце выступления на сцену поднялся сухопарый, с заметной сединой мужчина с букетом цветов в руках. Он обнял меня, поцеловал и сказал: «Петя, я твой командир взвода, Володя Добров!..»

Он действительно был добрейшей души командир. Многое нам прощал, никакой солдафонщины. Мы любили его, считали своим другом.

Ну вот. Выходим мы как-то из училища строем, с песней, в направлении нашего пустыря, чтобы заниматься строевой подготовкой. Минут пятнадцать занятия: топчем пустырь строевым шагом, полчаса перекур...

Только прошли проходную, случайно поворачиваю голову - глазам своим не

верю: навстречу нам по тротуару идет ОНА. Продолжаю разевать рот, глотая слова песни: «...францу... французу отдана...», судорожно соображаю, что можно предпринять в такой ситуации. ОНА идет в противоположном направлении. Вот ОНА поравнялась с нами и теперь начинает удаляться. Удаляется, удаляется. Со свернутой шеей, нарушая мыслимые и немыслимые уставные положения, выбегаю из строя.

- Товарищ лейтенант, - с вытаращенными глазами обращаюсь к Володе Доброву. - Мне срочно нужно до ветру!

Комвзвода недоверчиво смотрит на меня.

- В штаны не наложил?

- Никак нет!

- Ну, беги. Да поскорей. Догонишь?

- Ага!

Бегу и думаю: хоть бы не села в трамвай. Тогда пиши пропало. Делаю вид, что сильно запыхался, подбегаю, тяжело дышу. Перегородил Ей дорогу. Молчу. ОНА удивлена, но смотрит доброжелательно.

- Я... вы, наверное, не помните меня... Ну, вы мне объяснили, хочу вас поблагодарить...

- За что? - усмехается ОНА. Видно, чувствует подвох. И две ямочки появляются у нее на щеках.

- Как же! Вы объяснили мне, как доехать до Сенного рынка. Без ВАС... Я ведь тогда без увольнительной... Тотчас попался...

- Куда?

- Это потом. Ну, вспомнили? И еще сказали, где находится почтовое отделение...

- Да, большое одолжение! - и смеется.

- У меня так мало времени... Если бы вы только знали...

- Я вас не задерживаю, - говорит ОНА.

- А я вас так запомнил, что никак забыть не могу.

- Даже так?!

- Где мне вас найти?

- Зачем?

- Вы же понимаете, о чем я...

- Догадываюсь, - и снова смеется. Ей-богу, от ее этой улыбки с ямочками на щеках можно подохнуть.

- Так как же? - жалкий лепет. - Давайте завтра, там, где я вас тогда впервые встретил... На горбатой улочке. Помните? Встретимся, а? Мне нужно сказать вам что-то важное, а?

- А сейчас нельзя? - ОНА, конечно, все понимает, но душу мою выворачивает наизнанку.

- Можно, только времени никакого нету. - И протягиваю руку: - Я - Петя.

Тут ОНА расхохоталась, видно, пожалела меня, стало меня жалко, так просительны были мои ужимки.

- Яна, - и приветливо протянула мне свою руку.

Я схватил ее ладонь в вязаной перчатке.

- Спасибо, - говорю. - Значит, договорились? Не обманете? - ОНА отрицательно покачала головой. Точно. ОНА просто пожалела меня. - Спасибо! Я вырвался из строя...

- Вам за это ничего не будет?

- Значит, договорились?

- Да.

И я рванул догонять свой взвод. Бегу и то и дело оглядываюсь. Ее темная фигурка в лучах утреннего солнца становится все меньше и меньше, пока окончательно не растворяется в белом мареве.

Я бежал переполненный радостью и благодарностью Ей за то, что согласилась встретиться, и Володе Доброву за его доброту.

Когда я, наконец, догнал взвод, Добров спросил меня:

- Донес? Молодец!

- Спасибо! - радостно гаркнул я и встал в строй.

Высокого роста, стройный, плоский мужчина сорока лет, мрачен, наблюдает, как проходят занятия по строевой подготовке. Командир роты капитан Лиховол. От него за все три часа занятий не услышишь и трех слов. Только изредка указательным пальцем подзывает

своих подчиненных, командиров взводов, и без лишних слов:

- Плохо тянут носок. Подольше держите паузу, когда нога на весу. Ясно?

И уже до конца занятий ни слова. Пуговицы на шинели горят, сапоги блестят, спина прямая, как доска, выражение лица - постоянное недовольство, нетерпелив. Такое ощущение, что ждет не дожидается, когда все это кончится.

Интересно, чем он занимается дома?

Лиховол решительно толкает входную дверь и, не раздеваясь, садится за стол у окна, опускает свой тяжелый подбородок на ладони, упирается взглядом в одну точку, словно в ней и находится опора всей его жизни.

Жена не жена, любовница не любовница - прекрасная русская женщина - стоит рядом, готовая исполнить любой его каприз, желание, приказание. Она садится напротив, ее добрые глаза, добрые мягкие руки, ее добрая душа обращены к мужчине. Она так долго смотрит на Лиховола, что вот и у него на лице дрогнуло одно веко.

- Ну, рассказывай, что надумал?

Не меняя положения, Лиховол говорит:

- Мне все это... все эти: «Левое плечо вперед!», «Кругом!», «Выше ножку!», «Тяни носок!» На-до-е-ло!

- Снова рвешься в пекло?!

- Рвусь.

- После блокады, тяжелого ранения... снова туда?!

Александр Александрович смотрит на женщину, на ее прекрасный овал лица, на теплые ласковые глаза, на все лицо, обрамленное прядями светло-русых волос, своими огромными ладонями берет все это, долго всматривается - ему надо запомнить черты эти навсегда, навсегда...

- Решил окончательно?

- Бесповоротно.

- Я с тобой.

- Нет. Останешься растить сына.

Женщина смеется. Подсовывает ему граненый стакан водки.

- Какого сына? На, выпей!

- Нет, - Лиховол отставляет стакан. Достает из планшета официальную бумагу с печатями.

- Это тебе продовольственный аттестат. С ним продержишься до моего возвращения.

- Подумай, Саша. Мы не оформлены...

- Мужчина уходит на фронт, оставляет любимой женщине продовольственный аттестат - законное дело! - его кулак кувалдой опускается на стол. - Сына запишешь на мое имя.

Александр и Мария, обнаженные, стоят под душем; прежде чем сотворить сына, необходимо смыть с себя все прошлое, греховное, дать будущему сыну одну чистоту души и тела. Мужчина целует женщину: ее нос, глаза, щеки, губы, мочки ушей, целует юную шею, ее крепкие груди и всю округлость ее живота, где будет расти сын.

Длинные пальцы Марии ласкают его голову, перебирают волосы, массируют плечи... Вода непрерывным потоком омывает мужчину и женщину. Они стоят, вплотную прижавшись друг к другу в трепетном ожидании...

Они трудятся вместе, как одно целое. Нет, это не работа - радостное наслаждение: лица озарены счастьем, проникают друг в друга.

- Саша-а! - стонет Мария и целует, целует всего его, обвивает его могучее тело ласковыми руками, помогает, отдается с величайшей радостью.

- Родная! - шепчут губы Александра. - Родишь мне сына...

- Рожу тебе сына-а... - задыхаясь, отвечает Мария. И уже в изнеможении: - Копия ты!..

- Нет, копия - ты!

- Нет, ты...

Опускаются в небытие, теряя сознание...

У изголовья догорает свеча. Ни дня, ни ночи. Все смешалось...

- Мой ангел...

...Рассвет.

В одних кальсонах Лиховол большим и указательным пальцами подносит ко рту полный, еще с вечера налитый стакан водки, делает выдох и медленно выливает содержимое прямо в горло. Лицо просветляется, морщины разглаживаются и, уже улыбаясь, произносит:

- Хорошо-то как!

Встает во весь свой исполинский рост; крепкое, мускулистое тело - красивый русский мужчина. Какое-то время молча смотрит прямо перед собой и вдруг поет:

*- Пусть ярость благородная
вскипает, как волна,
Идет война народная,
священная война...*

Женщина обнимает капитана, плачет у него на груди.

- А если, не дай Бог, вас это... - она боится выговорить страшное слово.

Лиховол залпом выпивает стакан водки. Привлекает к себе прекрасную женщину:

- Повторяй за мной! - командует он. И оба вместе поют:
*- Смелого пуля боится,
Смелого смерть не берет!*

Задыхаюсь. Еще секунда, и мои глаза вылезут из орбит. Лицо залито слезами, из носа поток соплей... Никак не могу соединить коробку с активизированным углем непосредственно с маской на лице.

Начим, майор Педик (тогда мы не знали, что означает такая фамилия), сидит в противогазе, дает команду:

- Осколок пробил гофрированную трубку. Ваши действия!

В считанные секунды надо отвинтить гофрированную трубку от коробки и соединить коробку напрямую с маской.

Раз в неделю проводится этот ненавистный нам химдень. Ранним утром, после команды «Подъем!» следует: «Надеть противогазы!» И весь день, от подъема до отбоя, в противогазах: зарядка, умывание, в столовой - в противогазах. Да-да! Заходим в столовую:

«Снять противогазы!» Поели: «Надеть противогазы!» Правда, в этот день была возможность отоспаться, когда занятия проходили в помещении по теории баллистики или уроки по тактической подготовке на макете. Нахукаешь на стекла противогаза, они запотевают, через запотевшие стекла начим не видит твоих глаз, и ты спишь.

- Иванов! - неожиданно прерывает свою монотонную лекцию майор. Сережа вскакивает, не понимая, где он, беспомощно озирается. - О чем я сейчас рассказывал? - спрашивает майор.

Сергей молчит. Он ничего не слышал. Он спал.

Всеобщий хохот.

Но в этой закупоренной землянке, наполненной настоящим газом малой концентрации, выжить невозможно. Сколько можно не дышать? Тридцать секунд, ну, минуту, а резьба коробки никак не входит в отверстие маски, и ты, как рыба, выброшенная на берег, наконец разеваешь рот и получаешь порцию газа. Дикий кашель тут же раздирает глотку, руки дрожат, и тебя, полудыханного, вытаскивают из землянки. А начиму хоть бы что! Сидит в противогазе и наслаждается, видя, как задыхаются курсантики. После очередных занятий Юра Никитин неделю отвалился в санчасти. Мы поняли: надо начима проучить.

В тот день майор Педик дежурил по училищу. После отбоя он закрылся в кабинете, погасил свет, улегся на диван в сапогах, накинув на себя шинель. Его кабинет находился на первом этаже. В час ночи, когда дневальный уронил голову на локти, наша тройка выбралась из казармы, подкралась к окну, где спал майор Педик, мы зажгли малую дымовую шашку и на веревочке через распахнутую форточку тихо опустили на пол. А форточку заклинили...

Начим, майор Педик, трое суток провалился в санчасти. Его с трудом откачали.

...Как назло, к вечеру погода испортилась: подул сильный ветер, стало быстро темнеть. Горбатая улочка опустела, даже старухи быстро собрали свои манатки, смылись... Никого. Кто в такую погоду решится высунуть нос? Никто. Тем более ОНА. Стою, топчусь, прохоживаюсь вдоль забора, всматриваюсь в сероватую мглу. Прошло более получаса, как я перемахнул через забор, а ОНА все не идет. Когда я стал уже терять надежду, вдруг мне почудилось, что там, на самом верш горбатой улочки, в сгустившихся сумерках показалась фигурка. Все ближе, все ближе... Неужели ОНА? Да, ОНА! Я протер замерзший нос, сделал шаг навстречу.

- Я уж думал не придете...

- Давно здесь?

- Да нет. Минут пять, - соврал я.

- А нос посинел, - и улыбается.

- Он у меня не любит мороза. Ветер...

- Что будем делать? - спрашивает она.

- Пока в ресторан не могу вас пригласить, - дурацкий смешок.

Она снова улыбнулась. Помолчали.

И вдруг:

- Есть идея! - оживилась Янина.

Я вопросительно кивнул.

- У меня дома мать. Большая. А квартира не топленая. Давно перестали топить. И дрова кончились...

- Намек понял! - радостно воскликнул я.

Быстрым шагом мы поднимаемся вверх по горбатой улочке в самый дальний участок училища, где забор делает изгиб в гущу голых деревьев. Там-то мы и начали отрывать от забора доски. То есть отрываю я, а Яна следом подбирает большие и малые куски, не пропуская ни одной щепки.

- Может, хватит? - шепчет она. - Опасно.

Но меня уже не остановить. Вошел в раж:

- На завтра ведь тоже надо, правда?

- Правда.

- И на послезавтра...



Подпись на обороте: «Личность Гвардии лейтенанта Тодоровского заверяю: Нач. Штаба Гв. майор Педик. 20 ноября 1947 года»

- А вы завтра сможете освободиться?

Я осмелел:

- Может, перейдем на «ты»? - говорю, продолжая вырывать доски. - Ты учишься?

- В вечерней школе. Заканчиваю десятый. А днем в госпитале, на подхвате. Пошли, я боюсь.

Последняя доска издает такой жуткий треск, что где-то совсем рядом залилась собака.

Две смежные комнатки с окнами-бойницами. В дальней на кровати с металлическими шариками лежит мать Янины. На ней - два одеяла, поверх них телогрейка и пуховый платок.

- Мама, это - Петя, - говорит Янина, засовывая доски в печурку. «Буржуйка» стоит посреди комнаты, от нее труба идет прямо в закупоренную форточку.

- Не раздевайтесь, - говорит мать

Яны, видя, что я собрался снимать шинель. - Меня зовут Эйжбета Даниловна.

- Эйжбета?

- Мама полячка, а папа русский. Воюет.

- Да, я - полячка, а мой муж и отец - русские, - подтвердила Эйжбета Даниловна. У нее запрыгал кончик носа, глаза наполнились влагой. - Садитесь, что вы стоите?

Она - копия Яны.

Я присел на краешек стула, снял ушанку. При выдохе изо рта идет пар. Почти как у нас в казарме. Смешно.

- Ну-ка, растапливай печку! - Яна протягивает мне бутылку с керосином. - Только экономно!

Я плеснул на доски. Поджег. Доски были сырые, комната мгновенно наполнилась дымом, так что пришлось приоткрыть входную дверь.

- Угости мальчика, - говорит Эйжбета Даниловна.

- Я сыт. Что вы!

- Сиди! - она достала банку американской тушенки, консервный нож, протянула мне. - Открывай! Раненые подарили...

- Ей-богу! Я сыт. Нас кормят, - говорю, открывая банку.

- Знаем, как вас кормят.

Наконец дрова разгорелись, «буржуйка» запела, раскраснелась. Сидим с Яной за столом, уминаем американскую тушенку с картошкой. Потрескивают дрова в печурке, над столом висит «тарелка» радио. Звучит баркарола Чайковского. Как будто и нет никакой войны.

Эйжбета подперла голову рукой, сбросила ворох одеял, смотрит на нас - юных, здоровых. Тепло, уютно, хорошо.

И вот событие - к Сергею из Астрахани приехала мать.

Мы чистили оружие: стоим за длинным столом, разбираем свои винтовки образца 1897-1912 годов, смазываем детали, переговариваемся, - когда вдруг дневальный гаркнул на всю казарму: «Иванов! Сергей!.. Беги на проход-
- •: • теое мать приехала!»

Сергей обалдело смотрит на нас, стоит как вкопанный, словно ноги у него отнялись, не может сдвинуться с места.

- Чего стоишь? Беги! - говорит Никитин.

- Ребята, пошли?! - дрожащим голосом просит Сергей.

- Мы-то зачем?

- Прошу, пошли, а? - и тащит нас за руки.

И вот несемся мы втроем к проходной...

- Ма-аа-ма-а!

Сергей прижимает к груди миловидную женщину лет сорока пяти, не больше, а мы смотрим на ее слезы, безмолвные ручейки, ползущие по щекам.

- Как добралась? - еще сжимая в своих объятиях мать, спрашивает сын.

- Добралась... А исхудал-то как...

- А это мои друзья: Юра и Петр.

- Антонина Васильевна, - представляется она и достает из торбы сухари, нам и Сергею.

Мы стали отнекиваться, но Сережа сунул в руки по два сухаря, а для примера громко откусил полсухаря. Стоим, значит, в проходной, жуем сухари такие вкусные. Так, что у Юрки уши движутся в такт челюстям - вверх-вниз, вверх-вниз. Антонина Васильевна уже протягивает сухарик сержанту, дежурному.

В проходную заходит майор. Недоуменно смотрит на нас. Ему пройти никак не возможно - мы полностью заполнили проходную. Прижимаемся к стене, образуя узкий проход, прикладываем руки к вискам, во рту торчат сухари.

- Что за базар? - майор возмущен.

- Ко мне мать приехала, - радостно сообщает Сергей, предварительно вынув изо рта сухарик.

Майор улыбается:

- Вольно! - протискивается сквозь наш строй. Уходит.

Скверик. Давно не чищенный. Протоптанные тропинки расходятся в разные стороны. По ним люди сокращают свой путь.

На заснеженной скамье сидят двое: мать и сын.

- Ну, рассказывай? - говорит Антонина Васильевна.

- Все хорошо. - Сергей жует домашнюю лепешку с вяленой рыбиной.

- Тяжело?

- Привык. Не страшно.

Помолчали.

- После окончания туда?

Сергей вздыхает:

- А Лена перестала мне писать...

Мать опускает голову, плотно сжимает губы:

- Она тебе не пара, сынок. Еще встретишь.

- Не могу забыть.

Возле суетится воробышек, подбирает крошки.

- Спасибо что приехала. - Сережа обнимает мать, целует. - Ты у меня еще такая красотка, - говорит он.

- Ну уж красотка, - плачет. - За что его так сразу...

Мать и сын раскачиваются из стороны в сторону. Молчат.

Мимо них идет женщина. Встречается глазами с Сергеем. Он вскакивает, вытягивается в струнку:

- Здравия желаю!

Женщина смотрит на него. Не узнает.

- Мы с вами ездили на хлебозавод.

- Да-да... Вспоминаю, - и разглядывает юношу своим опытным взглядом. Хотя по глазам видно - не помнит.

- Конечно, у вас за это время было... Забыл ваше имя, отчество.

Женщина улыбается - напор настоящего мужчины.

- Ефросиня Александровна.

- Сережа, - протягивает руку.

Антонина удивлена: женщине не меньше пятидесяти лет... Какие могут быть отношения с ней у Сережи?.. А они уже удаляются. Сергей размахивает руками, о чем-то рассказывает женщине. Ефросиня смеется, каждый раз откидывая голову назад.

Антонине становится совсем грустно: зачем ее сыну эта пожилая женщина, что у них общего?..

- Я вас часто вижу во сне, - фантазирует курсант.

- Ну да?! - и смеется. Ей приятно - рядом юноша - смешит ее. Явно она ему нравится.

- Ей-богу! Видел-то я вас всего один-единственный раз, когда вы подавали тогда буханки хлеба, помните? Я все смотрел на вас и думал: какое милое лицо у этой молодой женщины.

Ефросиня просто вспыхнула от удовольствия.

- Мальчик, ты из какого батальона? - стрельнула глазами.

- Минометного.

- Это где капитан Лиховол?

- Наш комроты.

Останавливаются. Женщина, прищурив глаза, смотрит на юношу, словно оценивает его возможности. Готов ли он подтвердить ее догадку...

- Ты оставил там женщину. Разве так поступают?

- Это моя мама.

- Такая молодая?

- Не верите? Могу познакомить.

Ефросиня какое-то время размышляет, потом:

- У тебя сейчас есть время?

- Есть. У меня увольнение.

- Тогда следуй за мной.

- Куда?

- Я говорю: следуй за мной. - Она уходит не попрощавшись. Сергей смотрит ей вслед, нервно потирает руки, - вдруг оказался между молотом и наковальней, - спешит к матери.

- Кто эта женщина? - Антонина заглядывает сыну в глаза.

- Работает в училище. Мне пора, мама. Надо идти.

Они встают, оставив в снегу две глубокие вмятины.

- Ты запомнил дом, где я оставила сухари?

- Еще бы! - в нетерпении говорит сын, поглядывает в ту сторону, куда ушла Ефросиня.

- Осталась бы хоть на денек, - просит сын.

- Негде ночевать. Поеду. Повидала и

хватит. Слава Богу жив, не болеешь, и то счастье. Беги, - и в последнюю минуту схватила за рукав шинели: - Пиши почаще, Сереженька. Только и живу твоими письмами.

Расцеловались.

У Антонины что-то запекло в груди, когда увидела, что ее сын побежал не в училище, а за этой женщиной. И все-таки сложила три пальца и перекрестила сына.

Итак, великий конспиратор и ходок Сергей Иванов ушел в такое глубокое подполье, что нам и во сне не могло присниться.

Оказывается, этот субчик завел шашни ни с какой-нибудь первой попавшейся. Нет, ему каким-то образом удалось найти подход к особе старше его лет на тридцать. Влюбил в себя буфетчицу, ведающую в нашей курсантской столовой хлебом, маслом, сахаром!!!

Как-то после отбоя, когда мы наконец улеглись на нары, накинули поверх одеял свои шинели и, прижавшись друг к другу, готовы были сомкнуть веки, вдруг Сергей шепнул:

- Хлеба хочешь?

Сон как рукой сняло.

- Хочу.

И достает полбуханочки хлеба (целое состояние: на рынке стоит не меньше двухсот рублей!). Рвет ее на три части, и вот мы лежим под одеялами и наслаждаемся самой вкусной едой на белом свете - хлебом.

- Где раздобыл? - спрашиваю.

Сергей загадочно закатывает глаза:

- Военная тайна...

История эта закончилась совершенно трагически.

Буфетчица имела комнату в коммунальной квартире, в доме, расположенном рядом с училищем. Буквально через дорогу. Напротив нашей проходной. И вот на третий день знакомства, как нам впоследствии рассказал Сергей, Ефросиня пригласила его к себе в гости. Са-

ма организовала ему увольнительную до утра, то есть до подъема. Были приняты все меры предосторожности: не дай Бог, чтобы соседи узрели молоденького курсанта в ее доме - как ни скажи - перепад в возрасте стыдный...

Ну вот, как только стемнело, Серега по водосточной трубе взобрался к Ефросине. Окно было заранее открыто.

Стол ломится от невиданной для курсантика еды: американская тушенка, нарезанная селедочка с кружочками лука, грибочки, в укутанном казане томится отварная картошка и прочее, и прочее.

Ефросиня в цветастом халате, от нее за версту несет духами «Красная Москва».

Итак, окно закрыто, штора опущена, Ефросиня, вся пылающая, прислоняется к подоконнику - из-под халата выставлена оголенная ляжка - сигнал к действию.

Недолго раздумывая (надо знать Сергея!), Сергей прижимает буфетчицу к подоконнику и наносит ей сокрушительный поцелуй, от которого она чуть не задохнулась.

- Давай раньше выпьем, - шепчет Ефросиня, расстегивая пуговицы на шинели.

Выпили. Сергей кинулся на это невиданное изобилие как тяжело раненный. Ефросиня не успевала ему подкладывать в тарелку: то соленый огурчик, то грибочки и все, что было на столе. Ну, просто праздник и только. Курсантик уминает все подряд, хозяйка что-то лепечет, курсантику не до разговора: уминает в обе щеки молча, только поддакивает, кивает головой - не до разговоров...

Сама же почти ни к чему не притронулась, так ковыряет кончиком маникюра для виду, томится в ожидании главного момента. Смотрит на парня, предвкушая то, чего давно у нее не было.

Постель, естественно, разобрана, подушки взбиты, керосиновая лампа зажжена и стоит у изголовья...

Еще дожевывая, Сергей снимает га-

лифе, остается в одних кальсонах, Ефросиня эффектно сбрасывает с себя халат, открывая рыхлое тело с повисшими сиськами и животом в три складки. Ее глаза сверкают призывно, горят нездоровым огнем.

Наконец они валяются на кровать, с криком дикого зверя Фрося впиается в губы курсантика... И тут совсем нехстати - сами понимаете, момент! - у Сережи внутри, от обилия незнакомой еды, что-то огромное рухнуло из живота и провалилось в прямую кишку. И пока его терзает ненасытная женщина, Сергей в панике судорожно думает: если он сейчас не окажется в туалете, катастрофы не миновать! Ей-богу, наделает в кальсоны... Опозорится на всю жизнь.

Ефросиня в недоумении в который раз кидается на курсантика, требует действия:

- Ну! - шепчет она, задыхаясь.

- Где у вас тут это... туалет? - жалкий лепет. Глаза на выкате, лоб в испарине.

Ефросиня недовольно накидывает на себя халат, берет керосиновую лампу, осторожно приоткрывает дверь, выглядывает, машет рукой. Сергей в одних кальсонах на цыпочках преодолевает коридор, скрывается в туалете. Не успевает как следует освободиться, как кто-то дернул за ручку. Курсантик вздрогнул, приподнялся над унитазом, замер.

Снаружи кто-то нервно дергает ручку двери туалета.

- Фрося, это ты? - говорит мужчина за дверью. - Пусти, мне невмоготу.

Сергей застывает в своей неудобной позе.

Ефросиня замерла в своей комнате. Прислушивается. А сосед уже в крик:

- Фрося, скорее! Прошу, иначе!..

В коридоре появляется заспанная жена соседа:

- В чем дело, Паша? - грозно говорит.

- Там кто-то сидит, а я...

- Что значит кто-то?! Кто еще может, кроме Фроси?! Фрося, пусти Пашу, а то устрется, - говорит жена соседа.

Сергей понимает: надо выбираться. Иного выхода нет. Он снимает кальсоны, перекидывает их на левую руку, медленно открывает дверь и, как эллинская статуя, сомнabuлически протянув руки перед собой, с закрытыми глазами выплывает из туалета.

Раздается дикий крик - жена соседа шлепается на пол, Паша мгновенно отскакивает, выглядывает из-за угла коридора - привидение и только.

А Сергей плавно открывает дверь, голышом выходит на улицу. Бежит по заснеженной дорожке, находит окно Ефросини, взбирается по водосточной трубе наверх. Его рожа появляется за стеклом. Он толкает створки окна, распахивает шторы, поднимается во весь рост.

- Фросенька!

Женщина оборачивается, видит в окне голого мужчину, падает в обморок.

Сосед в одних подштаниках выбегает на улицу:

- Люди-и-и!.. Караул-л! Помогите-е-е!

Так трагически завершилась любовная история Сергея Иванова с буфетчицей Военно-пехотного училища.

Поздно вечером возвращается Сергей (его Добров, чтобы никто не знал, отпустил) и рассказывает:

- Мама договорилась с одними хоззяевами, за забором, на горбатой улочке, оставила у них мешок с сухарями, а я буду у них брать понемногу... Хорошие люди. Их всего двое: хозяйка, женщина лет сорока пяти и дочь - потрясающая девчонка лет семнадцати...

- И как ее зовут? - я напрягаюсь.

- Я ее видел мельком. На пороге - она как раз уходила. Завтра пойду за сухарями, тогда уж познакомимся. Эх!.. - Сергей потирает руки, подмигивает друзьям. - Потом познакомлю...

Я уже было разинул рот, хотел сказать нечто важное, но тут послышалась команда дневального:

- Отбо-оой!

- ...Ну, Петр Первый! Как там у тебя с

Яной? - шепчет Сергей. - Роман в разгаре? - и смеется.

Молчу.

- Спишь, что ли?

- Может, и не первый...

- Что, появился соперник? Кто же он?

- Потом сообщу, - мне неохота разговаривать с ним.

- Ты без боя не уступай.

- Попробую.

- А она? - и сует мне и Юрке по сухарику.

Лежим на нарах под тонкими одеялами и шинелями, щелкаем зубами по сухарям.

- Эх, женщины! - вздыхает Никитин. И вдруг запел: - «Пой гитара, играй потихонечку, в чем таится успеха секрет? Я любил одну славную Тонечку, а она меня, кажется, нет!»

- Разговорчики! - У наших нар стоит сержант, дежурный по казарме. - Вы что там грызете?

- Гранит науки, - отвечает Сергей. Он мне неприятен. Я и сухарик не хотел брать у него, но не удержался... Слабак.

Спит казарма - триста молодых сердец. За окном разгулялась метель. Воеет металлическая печь. Где-то в далекой, Богом забытой деревушке, живут мои родители. Работают в колхозе: отец в коровнике, мать в подвале вместе с другими женщинами перебирает картошку. Домой приносит три-четыре картофелины в панталонах...

От старшего брата а двадцать второго июня сорок первого года ни одной весточки. А ведь служил он на границе с Польшей.

Война! И нас готовят туда, где убивают. А еще учат не просто так умирать, а красиво, как Александр Матросов.

Сергей и Юра давно спят, а я не могу уснуть: Серега такой шустрый - отобьет у меня Янину... И тут, хоть лежу с закрытыми глазами, на меня из темной глубины выползла морда коровы. Наставила на меня рога и стоит...

...До войны у нас была корова, Мань-

ка. Мне тогда было всего семь лет. Мы сильно голодали - шел тридцать третий год. А семья большая: мать, отец и нас трое детей. Временами доходило до того, что сдирали с веников какие-то красные пупырышки, толкли их в ступе и заваривали в кипятке - каша. А когда удавалось достать гниловатую свеклу, в доме был праздник.

Манька появилась совершенно случайно. Стояла глубокая осень, самое тяжелое время - все запасы съедены. И вот однажды, когда мы укладывались, кто-то постучал в окно... В дом вошло двое молодых парней в сапогах и брезентовых плащах с капюшоном, промокшие, грязные. Они внесли в дом несколько мешков, в которых что-то бряцало. Оказалось, ребята эти приехали из областного центра, рабочие. Они привезли молотки, грабли, лопаты, серпы, ножи и всякий сельскохозяйственный инвентарь. Все это предназначалось к обмену на продовольствие. Они попросились на постой. Со своим скарбом уезжали в ближайшие деревни, выменивали свое железо на пшеницу, пшено, картошку - кто что даст - и все это потом увозили на свой завод, для рабочих. (В то время голод косил людей, как мух.) И вот однажды, после долгого отсутствия, они, изможденные, промокшие насквозь, ввалились в дом. Мать согрела им кипятком на примусе. Когда они чуток просушились, который постарше сказал:

- Мы выменяли корову. На ней одна кожа да кости. Довести сюда не смогли, в километре от городка корова упала посреди дороги... Если она еще не сдохла, попробуйте вы ее поднять - корова будет ваша.

Это был шанс выжить. Всей семьей мы кинулись за город. Дождь, не переставая, хлестал по лицам, швырял горстями... Шлепаем в темноте по разъезженной дороге. Отец ругается матом, но остановить мать нашу уже было невозможно: она так загорелась этой неожиданной возможностью занять собственную корову, целую корову!.. Наконец

в темноте различаем какой-то холмик, подходим ближе - корова. Лежит, распластавшись посреди дороги, голова запрокинута, еле дышит. Не раздумывая, мать набрасывает веревку на рога.

- Что стоите?! - орет она. - Берите корову за хвост. - И мужу: - Я буду тянуть за веревку, а ты - за рога.

Хотела было начать хлестать веревкой, вдруг передумала и сунула свою ладонь корове в пасть. Животное с охотой стало сосать мамину руку.

- Манечка! - говорит мама. - Вставай! Прощутебя... - И так легонько подхлестывает ее веревкой, совсем не больно.

Корова, видно, немножко отдохнула, пытается встать, но ноги ее разъезжаются в стороны, скользят; она валится на землю, в огромную лужу...

- Стоп! - командует мать. - Пусть отдохнет. Теперь так: берите ее за хвост, надо помочь животному - видишь, на ней кожа да кости выпирают на животе. - И снова сует Маньке свою ладонь.

Дождь, не переставая, хлещет как из ведра, но мы его не замечаем, стоим вокруг коровы, ждем. Жалко, конечно, ее. Живое существо, шея облезла, ни капельки шерсти, бока впалые, глаза молящие, будто просят о помощи.

С третьей попытки корова встала. Все-таки удалось ее поднять - хором орала: «Стоять!» - подпирала ее с двух сторон, чумазые, как черти, удерживаем Манечку в вертикальном положении. Но тронуть ее с места боимся.

- Так, - говорит мать. - Я легонечко потяну веревку, а вы не отходите, так и подпирайте с двух сторон.

Прежде чем натянуть веревку, мать снова сует свою ладонь. Манька берет ее и давай сосать, да так усердно, что мама вдруг рассмеялась.

- Ты чего? - спрашиваем.

- Щекотно-оо! - и смеется больше от счастья, чем от щекотки. Потому что, если удастся довести Маньку до дома и выходить ее, значит, появится шанс спастись от голода.

И вот мама начинает медленно-мед-

ленно вынимать свою ладонь из пасти коровы, и - о чудо! - Манька делает полшажка за ней. Останавливаемся - передышка. Манька продолжает сосать мамину ладонь. Потом еще шаг, второй, третий... Подпираем Манечку с двух сторон: я с Ильей с одной стороны, отец и старшая сестра - с другой. Мало-помалу, шаг за шагом, ни на секунду не меняя сложившуюся композицию, счастливые, не обращая внимания на потоки воды, льющиеся на наши бедные головы, ведем, как невесту, нашу Манечку. Скользим по лужам и уже согреваемся от коровьей шерсти. (Первая польза!)

К утру добрались к дому. У нас во дворе был свой сарайчик, туда еле-еле и ввели Манечку.

К рассвету черные тучи, опустошив себя дотла, наконец успокоились - дождь прекратился. Меня и старшего брата мать сразу послала на речку искать какую-никакую травку.

- Рвите любую, все, что осталось с лета, и мох на скалах, - так говорила наша мама. Она была в семье главой, генералом. Она спасала нам жизнь. А с Манькой, конечно, намучились - всю зиму поднимали ее с помощью соседей, и на веревках стояла, все старались, чтобы хоть днем не ложилась, потому что потом поднять ее не было никакой силы...

...Аранней весной, как только появилась первая травка, Маня стала быстро набирать силы. Мы выводили ее к речке, там она паслась, на глазах здоровела, а потом пошло молоко! Ведрами. Мать, счастливая, бегала по двору с ведром молока, черпала кружкой, угощая всех соседей молоком. Потом в доме появился сепаратор, вместе с ним и масло, и творог, и скотина, когда Манька отелилась. Мы полюбили этого маленького теленочка и назвали его Попрыгунчиком...

И зажили мы широко: два раза в неделю мать продавала на базаре масло, молоко. Люди стояли в очереди - молоко Маньки оказалось высокой жирности.

...А потом грянула большая война. Когда немцы выбросили воздушный десант в сорока километрах от нашего городка, отец-коммунист дал команду собираться. Бросили дом, все, что было в доме, бросили Маньку и Попрыгунчика, бежали в чем были.

...Сорок четвертый год. Я на фронте, мои родители соединились наконец с моей старшей сестрой, и они вместе возвратились в Херсон, где сестра еще до войны вышла замуж за херсонца.

Наши войска быстро продвигались на Запад и вскоре освободили и наш городок. Тогда-то у мамы запала мысль: во что бы то ни стало добраться к себе на родину. Посмотреть, что стало с домом, а главное - узнать судьбу своих родителей, моих дедушки и бабушки. Они наотрез отказались бежать от немцев.

Сколько ее ни уговаривали воздержаться от такого путешествия (надо было пешком пройти около трехсот километров практически за наступающими войсками), она все же ушла. Запаслась едой и зашагала по разрушенным и сожженным поселкам, ночевала в степи, ее ютили деревенские бабы... Через десять дней добралась в свой городок. Первое, что она узнала: дедушку и бабушку расстреляли - кто-то донес... Как родителей коммунистов. Квартира разграблена, в ней жили чужие люди. Кто-то ей шепнул, что наша Манька жива. Ее подобрал наш сосед - полицаи, который совсем недавно бежал вместе с немцами, а Манька, мол, сейчас живет у речки. Там пасется, там и ночует. Ее каждый день доят разные люди. Мать кинулась к речке, увидела свою Манечку, уткнулась ей в шею, проревела до поздней ночи.

...Обратная дорога в Херсон заняла больше трех недель. Корова трижды вырывалась, не хотела уходить из родного городка. Лишь с четвертого раза удалось ее вывести.

Весна была в разгаре, земля зелене-ла травкой, но время было голодное. И на этот раз Манька спасла нашу семью от лишений военного времени.

...Еще в передней я услышал взрыв хохота. Вхожу и замираю на пороге, словно обухом ударили по голове. За столом сидят трое: Яна, ее мать Эйжбета Даниловна и... Сергей Иванов. Пьют чай с сухариками. На лицах еще витает улыбка, видно, Сергей их чем-то рас-смешил - он в этом большой мастак.

- Чего стоишь? Проходи! - по-хозяйски говорит Сергей, обернувшись.

А я стою, не в силах сдвинуться с места. Смотрю на Яну, она - на меня, и мне кажется, она смущена. Мое появление нарушило их веселье. Пришел некста-ти...

- Проходите, Петр, - говорит Эйжбета Даниловна.

- Я... Да. Сейчас, - говорю заикаясь. - Тут наломал сухих веток. Принесу, - и толкаю спиной дверь. - Это рядом, я быстро... - отступаю, отступаю.

Уже в передней слышу голос Сергея: «Деревня, что поделаешь».

Янина догоняет меня уже на улице:

- Сейчас же вернись! Слышишь?!

- Но я действительно захворостом...

- Не ври! Чего ты испугался, - берет меня за рукав шинели. - Глупый, я тебя ждала. Понимаешь?

- А он?

- А он за сухариками. Ты как маленький.

Теперь мы пили чай вчетвером. Сер-гей щедро угощал своими сухарями. Эйжбета Даниловна поставила на стол недоеденную банку с вареньем. Чайной ложечкой кладем на сухарик варенье, запиваем подкрашенным кипятком. Слушаем радио. Молчим. Как раз пере-давали «От Советского информбюро». Потом Эйжбета Даниловна развернула треугольник - фронтовое письмо от му-жа: «Дорогие мои, любимые Яночка, Эйжбеточка, если б вы только знали, как я скучаю по вас, как мне не хватает ваших рук, ваших глаз, вашей теплоты, не хватает нашего дома и тишины. Вто-рую неделю снова на передовой, вши заели, кухня приезжает раз в сутки, в час ночи: перловка, кусок хлеба, рафи-

над... Зато гоним немца, еще немного, еще чуть-чуть - пахнет победой...» Не спеша читает, повторяя особенно важные слова: «люблю», «надеюсь», «держитесь». Потом что-то еще, но уже про себя.

Так, конечно, долго не могло продолжаться. Ситуация складывалась до смешного - кто кого пересидит... Даже такой говорун, как Сергей, упорно молчит, уминая один сухарик за другим. Первым не выдержал я:

- Ну, мне пора! - говорю вставая.

И вдруг открывается дверь, в комнату входит Володя Добров, наш командир взвода! Вот так чудо!

Наше присутствие ошарашило Доброва, но он быстро взял себя в руки, ведет себя так, словно нет ничего особенного в том, что мы с Сергеем оказались в этом доме.

- О-о! Так вот вы где окопались, голубчики, - снимает с плеча мешок, наполненный то ли пшеницей, то ли овсом. Ставит на пол, смотрит на часы. - Увольнение у вас до которого часа?

- До девятнадцати ноль-ноль, - говорит Сергей.

- А сейчас уже сколько? Опаздываете на тридцать минут. Так что выметайтесь! - он улыбается, абсолютно добродушен.

А я смотрю на Яну, она явно смущена, на меня не смотрит, надулась... Зато Эйжбета Даниловна наоборот рада его приходу.

- Зачем это, Володя, - говорит она, а сама сияет.

Мы с Сережей неловко высовываемся, молча киваем, уходим.

- Вас не смущает, что эти мальчики увидели ваш мешок? Что они подумают? - говорит Эйжбета Даниловна.

- На Сенном рынке можно купить все, что угодно. В том числе и овес, - сказал Добров.

- Но там и пшеница продается, а вы второй раз овес приносите, - замечает Яна. Она явно огорчена, на лейтенанта не смотрит. - И вообще...

- Ты что? Подозреваешь меня в чем-то нехорошем? - смеется лейтенант.

- Что ты мелешь?! - вмешалась мать. - Какая нам разница, где Володя достает этот овес. Тебе ведь нравится овсяная кашка по утрам?!

- Большая разница! - отрезала дочь. Она встала, зашагала по комнате.

Помолчали.

- Вам большое спасибо, но прошу вас, Володя, больше этого не делать, - говорит Яна.

Эйжбета Даниловна наконец тоже забеспокоилась:

- Конечно, нам это большая подмога, но если, не дай Бог... - и умолкла.

- Вы же без меня... моей, пусть какой-никакой помощи... Как жить-то будете?

- Будем! - твердо заявила Яна.

Эйжбета Даниловна всплакнула:

- Я что-то, Володя, боюсь за вас.

Молчат. Долго-долго.

А мы бежим по этой горбатой, заснеженной улочке. Мороз такой, что кажется будто на небе звезды потрескивают. Сергей впереди, я следом.

- Атвоя голубка не такая уж наивная, как хочет показаться.

Я молчу.

- Маменька просто вспыхнула, когда лейтенант заявился, - иронизирует Сергей.

Молчу.

- Так что тебе, голубчик, здесь ничего не обломится!.. - и смеется, гад, смеется...

Я с ходу наваливаюсь сзади на него, колошмачу кулаками по спине.

- Замолчи! - ору.

Валяемся в снегу, я все норовлю захватить ему по уху. Сергей вяло отбивается и смеется:

- Мы же шавки по сравнению с лейтенантом. У тебя в кармане - ноль. На свои несчастные пять рублей подписываешься на заем. Пойми, дурачок, у Доброва зарплата-аа! Лейтена-аа-нт! Нам следует искать девочек на трипперштрассе-еее! - и смеется,

гад, смеется!.. - А за Яной надо ухаживать!

Запахавшись, лежит на снегу. Над нами черное полотно неба, прорезанное яркими звездами. Думаю: теперь никогда больше не увижу Яну. Ну и пусть! Раз она такая двуличная.

- Ладно, - говорит Сергей. - Уступаю тебе Яну. Она не в моем вкусе.

Ну и нахалюга, думаю. Не стал заводиться, промолчал. Потом:

- А что, интересно, принес в мешке лейтенант? - спрашиваю.

- Овес, - без паузы, ответил Сергей.

Моему удивлению нет границ: Сергей ведь не заглядывал в мешок, это-то я точно помню. Откуда ему известно про овес?

- Откуда тебе это известно? - спрашиваю.

Сергей долго молчит, затем коротко:

- Сам насыпал...

Меня подбросило, словно волной. Наклоняюсь, заглядываю ему в глаза:

- Как это сам?

Сергей неподвижно смотрит в небо, на его бровях уже начала оседать изморозь. Потом рассказывает...

- Это случилось через дня три после того, как уехала мама. Был свободный час, ничего не подозревая, я сидел и писал письмо моему школьному другу Елене Коростылевой, как вдруг меня вызывают к Доброву - в ту ночь он дежурил по училищу. Почему-то лейтенант поджил меня во дворе, у входа в казарму.

«Товарищ лейтенант! Курсант Иванов прибыл по вашему приказанию!» - отрапортовал я.

Добров обнял меня, отвел в сторону, остановился, заглянул мне в глаза, тихо спросил:

«Сережа, ты умеешь держать язык за зубами?»

Вопрос застал меня врасплох, я просто растерялся. Я даже усмехнулся, пожал плечом.

«Умею, наверное...»

«Наверное или точно?» - лейтенант серьезен, смотрит жестко.

«Умею», - твердо сказал я.

«После отбоя я вызову тебя к себе... Поможешь мне в одном деле».

«В каком?»

«Потом узнаешь».

...Ночь была темная, ни зги. Поднимаемся вверх, в самый отдаленный угол территории, где расположены хозяйственные склады училища. Это место специально огорожено забором. Но лейтенант завел меня с тыльной стороны, где находится замаскированный лаз.

Огромный куст вполтноту притерт к забору. Отодвинув ветки, Добров находит нужную доску и тихонько отодвигает ее в сторону: пробираемся во дворик и оказываемся в тыльной части огромной землянки. В торцевой ее части зияет зарешеченное окошко. Лейтенант достает из кармана шинели плоскогубцы, ими легко вытаскивает заранее освобожденные гвозди. Снимает решетку - створки окошка откинулись внутрь землянки. Потом лейтенант вынимает из-под шинели мешок, наклоняется и шепотом:

«Там овес. Набери полмешка, не больше, и быстро».

Я проник внутрь, землянка почти под крышу была засыпана овсом. И стал быстро загребать зерно в мешок. Лейтенант стоял на шухере. Было так страшно, что хотелось поскорее спрятаться отсюда: я, как машина, загребал овес, приподнимал мешок, проверяя уровень наполнения, и снова греб...

Полицу потлил ручьями, не столько от тяжести работы, а больше от страха, что нас могут застукать... Ну а дальше, он взял у меня мешок с овсом, нырнул за забор, я следом за ним. Прикрыли доску. Он растворился в темноте, минут пять его не было. Потом вернулся уже без мешка...

- Зачем ты согласился? - шепчу, будто нас могли услышать.

- Он ведь три дня подряд отпускал к маме, давал увольнительную. Освобождал от занятий. Ну и...

Замерзшие, мы почему-то продолжаем лежать на снегу - его рассказ меня поразил.

- Наверное, помогает Янине, - говорю. - Так это ж благородно с его стороны.

- А с другой стороны - это же трибунал.

Издали слышались скрипучие шаги: кто-то бежал, приближаясь к тому месту, где мы лежали. В последнюю минуту Сергей отполз под забор, в темноту. Я последовал его примеру. Мимо нас, хлопывая себя руками по бокам, пронесся наш комвзвода лейтенант Добров.

Спит казарма. Посапывают курсантки после тяжелого дня. Только мы с Сережей не спим. Двенадцатый час ночи, а Юра Никитин еще не вернулся из увольнения.

Последнее время наш молчун наладился к одной одинокой женщине. Подробностей их связи Никитин нам не рассказывает, отделяется шуточками или загадочно молчит. Однако каждое воскресенье исчезает втихаря: где он пропадает, что это за женщина - нам неизвестно. Правда, Сергею Никитин показал свою зазнобу. Так, мельком, у ее барака, где жила.

Обычно он возвращался вовремя, но сегодня время увольнения давно иссякло, мы с Сережей забеспокоились - заметное опоздание грозит Юре большими неприятностями. Уж десять суток гауптвахты не миновать.

В который раз к нашим нарам подходит дежурный по казарме, сверхсрочник старшина Панасюк, с укором смотрит на нас, потом указательным пальцем тычет по своей «цибуле» - часам. Они у него на цепочке. Когда крышка открывается, раздается звон.

- Я знаю, где он, - говорит Сергей, когда Панасюк отходит.

- Где?

- У него женщина...

- Старая?

- Ага. Лет двадцать пять.

- Беда, - говорю.

Сергей сползает с нар в одних кальсонах, шлепает босыми ногами к Панасюку.

- Я знаю, где Никитин, - говорит он.

Панасюк долго размышляет, потом:

- Далеко?

- Минут десять.

Панасюк тяжело вздыхает.

- Ладно, мотай! Живо. И чтоб ни гу-гу!

Путаясь в штрипках кальсон, Сергей спешит ко мне:

- Слезай, - шепчет он. - Одевайся.

- Куда?

- Туда.

- Куда «туда»? - натягиваю галифе.

- Когда на голове нет волос - это надо долго! - шипит он.

А Юрка, гад, лежит себе в постели, на его груди покоится голова женщины. Они молча смотрят в потолок, не в силах вымолвить слово, шевельнуть рукой. Под глазами темные круги, видно здорово потрудились в своей любви.

Женщина убирает с лица Никитина свои волосы, нежно целует его в щечку.

- Давай немножко поспим, а?

- Пора возвращаться, - не меняя позы, говорит Никитин.

- Не надо возвращаться. Оставайся со мной. Давай жить вместе?

- Давай.

Женщина хороша собой: красивый овал лица, тонкие брови, аккуратный носик, сочные, пухлые губы.

- Устал, - говорит она.

- А ты?

- Ты сильный.

- Стобой...

Мы несемся по темной улице. Где-то на задах горбатой улочки в сухих зарослях кустарника одноэтажный дом - барак.

Сергей ходит вдоль окон, ищет нужное окно: Никитин, оказывается, однажды показал, где живет его женщина. Сергей прислоняется к стеклу:

- Юра!

Молчание.

Сергей осторожно стучит.

- Юра!

Я стою у него за спиной, весь в озно-

бе, клацаю зубами. Вдруг ни с того ни с сего смеюсь.

- Ты что? - Сергей крутит пальцем у виска.

- Я вспомнил, - говорю, - один говорит: «Я так замерз, что зуб на зуб не попадает», а второй ему: «А я уже давно и не целюсь», - и такой разбирает меня смех совершенно некстати.

Сергей смотрит на меня как на сумасшедшего.

Наконец в комнате выплыл огонек - керосиновая лампа. К окну приникает женщина. Вопросительно кивает головой. Сергей жестами показывает, чтобы Никитин выматывался, да поскорей.

Из-за спины женщины появляется рожа Никитина. Машет нам рукой, чтобы мы уходили, мол, никуда он отсюда не уйдет. Юрка просто издевается над нами, таким оказался вредным. Вообще двухсторонняя пантомима уже длится минуты три, и все никак. Наконец, чтобы мы не строили себе иллюзий, он на наших глазах взасос целует свою женщину. Завороженно смотрим, как это у него лихо получается. Прижимает женщину к себе, обхватив руками. На нас - ноль внимания. У женщины сползает нижняя сорочка, обнажая полные груди.

Мы с Сергеем онемели. Жгучая зависть охватила нас, смотрим, как кролики на удава, забыли про все на свете. А Юрка целует ее груди, и если бы они оба замерли, то в оконной раме образовалась бы живописная картина.

Трагически летит время, а мы стоим, завороженно смотрим в окно, словно такое происходит не в жизни, а на сцене...

Потом несемся втроем в училище. Бежим по горбатой улочке, только ветер свистит в ушах. Подбегаем к забору, и вдруг Никитин разворачивается, бежит назад к своей женщине. С трудом догоняем, валим его в снег, говорим всякие дурацкие слова, мол, что тебя ждет и прочее и прочее, но на него никакие слова не действуют. Вырывается

и снова бежит туда. Снова нагоняем, снова валим в сугроб, вдвоем наваливаемся на него, заламываем ему руки.

- Не хочу-уу в казарму-у! - орет Юрка на всю улочку. - Не хочу!!! Лучше на фронт...

Внезапно умолкает. Крупные капли текут по его щекам, плачет Никитин, словно младенец в коляске разревелся, понимаешь.

Сидим в снегу, я и Сергей. Молчим. Даем Юрке выплакаться.

Морозное утро. У проходной топчет-ся девчонка. Лет шестнадцати. Не больше. Стоптаные мужские ботинки, из-под короткой юбки торчат пузырьчатые брюки, телогрейка не по росту: в плечах широка, рукава короткие, дальше покрасневшие кисти рук. Под ногтями - траурная кайма. Мотя!

- Кого ждем, Мотя? - интересуется курсант из проходящего строя.

С того дня она и стала Мотей. Хотя настоящего имени ее никто не знал. Однажды - это уже на второй или третий день - взвод, выходя из проходной, в сорок глоток рывкнул: «Здравствуй, Мотя, Новый Год!»

С самого раннего утра допоздна дежурит Мотя, вглядывается в лица проходящих курсантов. Откуда взялась? Кого высматривает? Худенькая, под глазами синяки, но все равно хорошенькая-хорошенькая. Стоит на цыпочках, проводит взглядом и снова ждет...

А вот и наш взвод. Выходим из проходной со своей: «Скажи-ка, дядя, ведь не даром...» С криком:

- Юра-а! - в строй врывается Мотя, бросается на Никитина, обвивает руками шею, целует в губы, щеки, счастливые слезы потоками бегут у нее по лицу. - Юрочка! Любимый! Родненький, нашла! - и целует, целует.

Строй рассыпается, песня затухает, комвзвода оторопело смотрит на эту картину...

- Взвод! Становись! - И Никитину с перекошенным лицом: - Пять минут на выяснение, - шипит он, глядя на Мотю,

которая буквально повисла на подчиненном. - Ясно?!

- Как ты здесь оказалась? - говорит Никитин.

- Приехала к тебе, - говорит так, будто ее здесь давно ждут. Глаза сверкают, счастливая улыбка не сходит с лица.

- Убежала из детдома?

- А то не знаешь. Из самого Душанбе. Я тут все училища пересмотрела: и танковое, и артиллерийское и еще... Больше не могу без тебя и все! - и заревела на всю улицу.

- А как добралась?

- Как-как! - взорвалась. - На товарняках. Где только не была-а... Вскакиваешь в товарняк, а куда он идет ведь не знаешь, верно. - И снова в слезы: - Так захотелось увидеть тебя...

Ему стало ее жалко. Обнял. Она припала к его груди.

- Давай удерем?! Спрячемся, будем вместе, а?

- Меня же расстреляют.

- За что?

- За дезертирство.

- Я знаю такое местечко под Душанбе, - с надеждой смотрит ему в глаза.

Никитин тяжело вздыхает.

- Может лучше ФЗУ? Все же кормежка, ну, и там профессия?.. А, подумай, Настенька?

Настя прижимается к забору, смотрит в одну точку, словно в ней ищет выход.

- Нет! - твердо говорит она. - Повидала, душа успокоилась. Поеду обратно. - Они долго молчат. - Я тебя буду ждать, потому что так сильно люблю. Поцелуй меня, Юрочка. Тебе некуда меня брать. Поцелуй!

Юра целует Настю. Долго-долго.

Курсанту нечего сказать, нечего предложить. Один стыд охватывает все его существо. Стыд перед этой полуголовой, полураздетой, перед неустойчивым истинным чувством.

Вот она настоящая любовь.

- Беги! - говорит Настя.

- Агы?

- Беги, говорю!

Душа разрывается на части. И в руку положить нечего.

- Я бы после обеда смог бы что-нибудь вынести... - жалкий лепет.

- Обойдусь. Ну!

Бежит Никитин, оглядывается на одинокую девичью фигуру у забора...

Никитин озверело проползает под колючей проволокой, с ходу берет высокую стенку, шагает по бревну, под ним - котлован с водой. Неосторожный шаг, и курсант падает в воду. Из-за куста вылетает Настя, пантерой кидается на Доброва.

- Почему издеваешься над человеком?! - орет на весь пустырь девчонка.

Хихикают курсанты, ухмыляется лейтенант - не знает что и сказать.

- Он без отца и без матери... Один. У него только я.

- Любишь? - спрашивает Добров.

- Еще с третьего класса.

...Нас четверо, по два на каждом бревне: на одном - рыжий Филька и Костя, на другом - я и Настя. Сеанс длится пять минут. Толкать бревно надо не просто так, а только в такт музыке. Музыка так себе - шарманка. Упираемся ногами в землю, налегаем грудью на бревно, вертимся вместе с барабаном. Барабан приводит в движение всю систему. Над нами - счастливики: в креслах, верхом на лошадаках, на петухе. Петух нарасхват. Он всего один, и билеты на него дороже. С ярким хвостом, красным гребешком - на нем катаются дети состоятельных родителей.

Карусель. Каждой весной в наш городок приезжает карусель. Ее устанавливают на базарной площади, на фоне собора. С десяти утра до поздней ночи, сверкая цветными лепестками, вертится волшебное, недоступное нам чудо. К концу рабочего дня весь городок у карусели с детьми: визг, писк, смех...

Денег, чтобы купить входной билет, нет. Поэтому, чтобы хоть разок бесплатно прокатиться на этой карусели, надо

прокрутить ее три сеанса. Чумазые, в подтеках грязного пота, вчетвером крутим этот проклятый барабан. Никак не поспеваем за музыкой. К нам в подпол врывается администратор - цыганского типа, с вороватыми глазками парень. Он хлопает ладонями в такт музыке.

- Быстрее! Быстрее! - орет он. - Это работа, а? Спрашиваю?! Еще быстрее!

Выбиваемся из сил, но вот, кажется, догоняем музыку: барабан вертится в такт музыке.

- Вот так. И ни на йоту медленнее! - кричит администратор.

А мы несемся по кругу, спотыкаемся и снова налегаем на бревно - пятиминутка кажется нам вечностью. Шарманка наконец замедляет свой бег, в изнеможении валимся на землю. Там, наверху, над нами кипит жизнь, новая партия девочек и мальчиков уже заполняет карусель, а нам еще предстоит прокрутить целый, третий по счету, сеанс. И лишь после этого дадут возможность бесплатно один раз прокатиться верхом на лошадке.

Последний сеанс прокручиваем более энергично, ведь совсем скоро мы сами будем восседать вместе с детьми как на равных...

Наконец нас подменяет следующая четверка ребят. Выбираемся наружу, неуверенно приближаемся к контролеру, оглядываемся вокруг, администратора не видно, а без него нас никто бесплатно не пустит. Мимо проходят на карусель разодетые дети с родителями. Вот уже на петухе восседает толстый мальчик с бабочкой на рубашке. На наших глазах карусель заполняется, заполняется...

- Вы куда? - орет контролер, когда мы было сунулись пройти без билетов.

- Мы крутили... Три сеанса... Нам обещал этот с усиками...

- Вот к нему и обращайтесь. Отойдите и не мешайте! - он толкает нас в сторону от прохода.

Расфуфыренные счастливики садятся на лошадок с уздечками из серебра и золота, садятся в бархатные сиде-

нья, веселый щебет не умолкает. Скоро уже не останется свободных мест...

Взрослые смотрят на нас с подозрением.

- Этим ни в коем случае нельзя пускать на карусель: замарают все! - говорит женщина с огромной грудью; это ее сынок уже восседает на петухе. - Посмотрите на ноги этой девчонки! - тычет на Настю. - Разве можно с такими ногами садиться на лошадку и вообще! - у женщины маленького роста полный рот золотых зубов.

Уже звенит первый удар колокола, администратор все не идет. Стоим, переминаемся с ноги на ногу, черт подери!.. Раздался второй удар колокола... В последнюю минуту появляется администратор.

- Так, - говорит он. - Вот вы двое, - тычет пальцем в меня и Настю. - Проходите. Остальные в следующем сеансе.

Звучит третий удар колокола. Карусель вздрагивает и медленно плывет.

- Свободных мест нет, катайтесь стоя, - уже вдогонку кричит администратор.

Вскакиваем с Настей на ходу и, счастливые, кружимся, кружимся... Перед глазами мелькают купола собора, школьный скверик и лица, лица. Все быстрее, быстрее.

А Настя - хулиганка, стоит на одной ноге, как балерина вертит второй в воздухе, в толпе раздается хохот, а она строит им рожицы. А смеются ведь не от ее вертлявой ноги: на фоне разодетых детишек она словно выползла из кочегарки - рожка грязная-прегрязная, только два ряда белоснежных зубов проносятся мимо хохочущих лиц.

Эх! Какое это счастье прокатиться на карусели. Пусть не на лошадке, пусть стоя, и все же ты на карусели.

А потом снова, если хочешь еще разок прокатиться, надо лезть в подпол и крутить всю эту махину три сеанса подряд.

Эх! Счастливое детство!

Протягиваю заявление с просьбой

об увольнении. На воскресенье. лейтенант Добров долго рассматривает листок, тербит его в руках.

Сегодня будет уже второй выходной, как меня лишаают увольнения. В чем я провинился?

Добров молчит.

- Есть указание давать увольнение выборочно.

- Но вот Никитин получает каждое...

- Никитин - отличник боевой и политической подготовки, - перебивает меня лейтенант. - А у тебя тройка по баллистике, и начим жаловался...

- Значит, и сегодня лишаете?

- Обратитесь к комроты, - Добров не смотрит курсанту в глаза.

- Где ж я его возьму? Сегодня воскресенье!..

- Надо было заранее.

- Но обычно вы даете.

Добров поднимает глаза, смотрит на меня исподлобья. (Таким я его еще никогда не видел.)

- И Сережа - мой друг - с утра в увольнении, а я торчу...

Лейтенант тяжело вздыхает.

- Ладно, на два часа подпущу. Больше не имею права. - Он в упор смотрит на меня. - И куда теперь? Уже стемнело...

- Мне очень-очень надо, товарищ лейтенант.

Я целую ее замерзшие губы, ее глаза, ее покрасневший кончик носа. Двумя лапами своей шинели обхватываю Яну, ее озябшую спину - демисезонное пальтишко не может соперничать с ночным морозом. Две темные фигурки лепятся к забору. Тускло светится единственное окошко у ближайшей избы на горбатой улочке.

Мороз. Ночь. Темень.

- Сколько тебе еще учиться?

- Долго-о...

- У тебя совсем открытая шея.

- Черт с ней, с шейей! Давай лучше я тебя поцелую.

- Поцелуй! - слышится голосок Яны на всю горбатую улочку.

Они надолго замолкают. Потом:

- А после окончания учебы на фронт?

- Куда ж еще.

Яна роняет голову ему на грудь, плачет.

- А вот Доброва оставили же после окончания училища...

- Мне нельзя.

- Почему?

- Потому что я тебя люблю.

Яна смеется и целует его губы.

- Что я буду делать, если тебя, не дай Бог, убьют?

- Не убьют. Я живучий.

- Тебе нельзя умирать. Хорошо?

- Хорошо. Я люблю тебя.

- Я тебя больше. И откуда ты взялся такой?

- Какой?

- Такой. - Их губы снова соединяются, нежно, неумело.

Оголенные деревья упираются в жгучие звезды черного неба, одиноко лает псина, и вдруг девушка напевает: «Я всей силой души обожаю тебя...» Потом раздастся девичий смешок - колокольчик, и снова тишина.

Рядом с ними останавливается мужичок. И откуда он только взялся? В засаленной телогрейке и таких же ватных брюках, он долго смотрит на застывшую в поцелуе парочку: на ушанку со звездочкой, на выбившийся локон девушки, на закопченные руки курсанта, сжимающие полы шинели на спине у девушки. И совершенно непроизвольно сам себе говорит:

- Война - это страшное дело. Буквально всех убивают!..

- Ой! - вскрикивает Яна.

Оборачиваются, смотрят на непрошеного гостя, на его небритые, впалые щеки, на маленькие с хитрецей глаза.

- Пошли бы вы в депо, - говорит мужичок. - Там тепло. Окопенеете ведь.

- Нам не холодно, - говорит Яна.

Мужичок долго молчит, потом делает такое философское умозаключение:

- Да-а, молодость! - и остается на месте.

Они смотрят друг на друга... Смеется девушка, смеется курсант, наконец, рассмеялся и засаленный мужичок-железнодорожник.

Стол ровно засыпан овсом. Эйжбета перебирает овес, мусор кладет себе в ладонь. Напротив нее сидит лейтенант Добров. Они молчат, видно, главный разговор состоялся.

- Ну, я пойду, - говорит лейтенант и остается на месте.

- Она еще маленькая, - говорит Эйжбета. - Рано ей. Хотя-а...

- Яне семнадцать лет, да?

Эйжбета согласно кивает.

- Амне аждвадцать первый пошел! - ухмыляется Добров. - Старик!

Молчат.

- Сейчас такое положение на фронте, каждую минуту меня могут отправить... Если б Яна согласилась расписаться со мной...

Эйжбета поднимает глаза, смотрит на лейтенанта.

- Володя, вы мне по душе. Я знаю, вы любите Яну, но как она...

- Добрый вечер! - вместе с клубами морозного пара в дверях появляется Яна. Розовощекая, с горящими глазами, хорошенькая-хорошенькая. Лейтенант расплывается в улыбке.

- Сегодня ты, как с картинки, - говорит он. - У тебя такой вид, будто тышла миллион.

- Я нашла значительно больше! - она загадочно улыбается, снимает пальтишко. - Умираю, есть хочу.

Эйжбета сдвигает в угол стола овес, снимает с примуса подогретый суп, ставит перед Яной. Она набрасывается на еду, словно проголодавшийся щенок.

- Чего молчите? - говорит с набитым ртом.

- Не спеши, - замечает мать и кладет на стол полбуханки хлеба.

- Откуда?

- Догадайся!

- Вы? - обращается к Доброву.

- Мы три дня были на стрельбище... Ну и... Это осталось от сухого пайка.

- Отрываете от себя?

- Глядя на меня, не скажешь, что я что-то отрываю... - и смеется.

Какое-то мгновение Яна размышляет, брать или не брать, потом отрезает большой шмат хлеба:

- Спасибо! Спасибо! Спасибо-оо! - поет она. - Вкусно-оо!..

Эйжбета присаживается рядом с дочерью, складывает руки на груди.

- Володя это... Ну, просит у меня твоей руки.

У Яны ком застревает в горле. С полным ртом она смотрит на мать, потом на лейтенанта и вдруг хохочет.

- Так старомодно-о?! У тебя моей руки-и! - И уже серьезно: - Хотя - да. Все-таки мать. Но я влюблена в другого.

- Она принимается за еду так, словно ничего особенного не произошло.

- Я серьезно... - тихо говорит лейтенант.

- Я тоже, - не поднимая головы, говорит Яна.

И снова молчание.

- Как жить будете? Войне не видно конца, - лейтенант встает, берется за ручку двери. - Мы еще вернемся к этому... - хотел сказать «вопросу», но вовремя спохватился. - Подумайте. - Стоит в дверях.

Эйжбета прикрывает ладонью глаза, смотрит через растопыренные пальцы.

- Ты не спеши отказывать, - говорит мать. - Подумай.

- Я еще маленькая. Мне рано. Я есть хочу. Я устала.

- Володя любит тебя.

- Мама-аа! - взрывается дочь. - Я люб-лю дру-го-го че-ло-ве-ка. И все!!!

В черном небе висят яркие шары-светильники. Их множество. Они освещают всю территорию крекинг-завода: цеха, цистерны, наполненные нефтью, ячейки, вырытые нами в полный рост, - место, где мы живем вторую неделю. Каждую ночь немец прилетает, как по расписанию: ровно в двенадцать раздаётся гул самолетов, этот звук приближается, приближается, потом «юнкер-

сы» снижаются, и в небе вспыхивают сброшенные светильники. Светильники разгораются все ярче и ярче, и тут же - раздирающий душу вой летящих бомб...

Вторую неделю мы «живем» на этом заводе, тушим зажигательные бомбы, спасаем завод от пожаров... И все равно уже сгорели многие цистерны с нефтью, вспыхнул один из цехов по перегонке нефти в бензин. Огромными щипцами и просто в толстых рукавицах хватаем зажигалку и окунаем ее в бочку с водой.

В эту ночь мы с Юрой Никитиным дежури́м на крыше. Нарастающий свист летящих бомб проникает в душу: хочется спрятаться, пролезть в какую-нибудь щель, прикрыть голову руками. Но в том-то и дело - нам предписано стоять и высматривать эти самые бомбочки. Их надо обнаружить и, не дав ей разгореться, окунуть в воду.

Сегодня нам везет: пока зажигалки пролетают мимо нашей крыши.

А само зрелище страшной красоты: угольно-черные силуэты курсантиков четко вырисовываются на фоне ярких вспышек. Они мечутся по крышам, как заведенные роботы, шарахаются из стороны в сторону, снова схватываются, бегут, спотыкаясь, по жестяным крышам, суетятся вокруг повсюду расставленных бочек с водой...

Неожиданно к нам на крышу вбегает Сергей. Его ботинки скользят по наклонной плоскости, еще мгновение, и он свалится вниз. Но нет! Он спешит, под его ногами жест тарыхтит похлеще взорвавшейся бомбы. На нем нет лица.

Втроем приседаем у кирпичной трубы. Оглянувшись, Сергей так, чтобы никто не слышал (при таком грохоте?! Смешно), шепчет:

- Только что взяли Доброва!
- Куда? - не понимаем мы.
- СМЕРШ! - и весь трясется.

Я начинаю догадываться, а Юрка - он ведь не в курсе.

- Это что означает?
- Приехали двое военных на «эмке», усадили комвзвода в машину и...

- А ты чего переживаешь? - спрашивает Никитин.

- Не трогай его, - говорю.

- Что теперь будет? Что будет?! - Сергей прижимается спиной к кирпичу, он несколько раз ударяется головой об трубу.

- Кто-то донес, - говорит Никитин.

- Ты не проговорился? - спрашиваю.

- На самого себя?!

- Интересно, кто-то еще знал?

- Мне не докладывали! - Сергей смотрит перед собой опустошенным взглядом в никуда.

Молчим. На лицах отблески пожаров, над головами гудят «юнкеры», горит Волга - столб черного дыма упирается в небо.

Сидим под кирпичным дымарем, размышляем, как спасти Сережу.

- Ты-то в чем виноват? - спрашивает Никитин. Он принимает самое активное участие.

- Виноват! Виноват... - шепчут губы Сергея. - Дурак.

Молчим.

- Может, обойдется?

Молчим.

- Слушай! - вскипаю я. - Идея! Поговорим с Ефросиней - она могущественный человек. Она все может! Если сделала тебе увольнение до утра, значит...

- Ее убрали, - безвольно машет рукой Сергей. - Проворовалась.

Теперь, когда исчерпаны всевозможные варианты по спасению друга, молчим.

Слава Богу Яны не было дома. Тяжело дышу, слова не могу выговорить - оставшиеся пятнадцать минут обеденного перерыва решил смотаться к Яне с этим печальным сообщением.

Эйжбета Даниловна усаживает меня, обеспокоенно смотрит.

- По твоему лицу вижу: что-то случилось?

Утвердительно киваю головой.

- Говори!

- Позавчера ночью арестовали Доброва...

Женщина ахает, опускается на стул, руки плетью повисли вдоль тела.

- За что?

Немного отдышался и теперь уже спокойно:

- Если у вас еще остался овес... Его немедленно спрячьте... Лучше выбросите.

Лицо становится блее мела, руки трясутся.

- Я как чувствовала. Значит, он это, - не смеет выговорить то страшное слово. - И Яна тоже... Ей не нравилось, что он это...

- Ну, побегу.

- Как это случилось? - губы запрыгали у Эйжбеты Даниловны, вот-вот разревется.

- Потом. Я опаздываю. Может, вечером...

- Постарайся, - она спешит открыть мне дверь.

Бегу и думаю: оставил человека в таком состоянии. Вернулся, приоткрыл дверь и в щелочку:

- Не теряйте времени! - кричу.

- Куда ж мне его девать? Помоги, Петруша, а? - Держит в руках полупустой мешок.

Хватаю его, бегу вдоль забора туда, где мы с Яной отрывали доски, прячу мешок... Нет, высыпаю овес в ямку, загребаю снег ботинками. Мешок не знаю куда деть. Размахнулся и зашвыриваю его на сухое дерево.

Весна. Солнце светит, но холодно-ва-то еще - северный ветерок колючий-колючий. И все равно небо голубое-голубое.

Колеса весело постукивают на стыках рельсов - трамвай катится по городу Саратову. Около домов уже греются старушки, сидят на лавочках, укутанные платками; кондуктор то и дело постукивает по звонку, пугая зазевавшихся пешеходов. На остановке в вагон вбегают стайка девочек-школьниц - визг, смех, писк.

Мы с Яной стоим в обнимку на задней площадке трамвая. Ее руки то и де-

ло поглаживают мою единственную звездочку на погонах. На мне новое обмундирование, новые сапоги, новый пояс с портупеей, на поясе пустая кобура, но выглядит она всамделишной - для солидности заполнил кобуру газетой. Не придерешься!

Трамвай догоняет колонну новобранцев. Молодые парни с рюкзаками, торбами за плечами, у других в руках деревянные, тертые чемоданы.

Колонна растянулась на многие километры, ни конца ни начала. И вдруг ударил барабан, запели медные трубы - духовой оркестр играет до боли знакомый марш «Прощание славянки».

Новобранцев провожают матери, родственники... А вот девушка идет и плачет на груди долговязого парня. И совсем уж неожиданно - беременная девица семенит за своим суженым. Они о чем-то весело переговариваются, девица хохочет, одной рукой поддерживает огромный живот.

На всю улицу гремит духовой оркестр. Наш трамвай несется все быстрее и быстрее. За стеклом мелькают лица, самокрутки в зубах остриженных парней, стоптанные ботинки, натруженные руки, глаза матерей, залитые слезами, и, наконец, что-то засверкало в голове колонны: это духовой оркестр. Блестят на солнце медные трубы, опадают и надуваются щеки музыкантов, рука с колотушкой лупит по коже барабана...

Яна уткнулась лбом в заднее стекло трамвая, плачет. Пытаюсь ее успокоить, но тщетно - разревелась, глядя на идущих по проезжей дороге города Саратова. Далеко позади осталась колонна, но оркестр звучит все сильнее, все громче и громче.

...Фотограф приподнимает мой подбородок, Яне припудривает нос. Я сижу на стуле, Яна стоит рядом, положив руку на новенькие погоны. Фотография на долгую память.

Теперь Яна сидит на стуле, я стою рядом: плечи приподняты, лицо напряжено, глаза выпучены. Фотограф, жен-

щина лет пятидесяти, снимает колпачок с объектива: «Раз! Два! Три-и!» И снова: «Раз! Два! Три-и!»

Гремит духовой оркестр, звуки труб перемежаются со взрывами снарядов, автоматными очередями, ревом танковых гусениц...

А нам хоть бы что: все сидим с Яниной у фотографа в обнимку, снимаемся навсегда, навсегда, навсегда. На долгую память.

Перестукиваются колеса теплушек на стыках рельсов, ревет паровоз, разгоняя видимые и невидимые препятствия...

А нам хоть бы что: сидим с Яной у фотографа в обнимку - светло, тепло, уютно...

...Хлещет проливной дождь, бегут солдатики в атаку, рты разевают до упора - слышится мощное «Ура-а!»

...А мы сидим с Яной у фотографа, отлетает крышечка объектива, меняем только позы - светло, тепло, уютно...

...А новобранцы все идут и идут, и конца им не видно... Плачут матери, жены, невесты; девушки-подростки гоняют вдоль колонны: смех, визг, музыка...

Безостановочно играет духовой оркестр.

Фотоаппарат щелкает, перемежая лица: теперь уже перед объективом сидим в обнимку я, Сергей и Юра Никитин. Три младших лейтенанта. На лицах дурацкая улыбка...

Артиллерийская канонада перекрывает музыку.

...И вот уже лейтенант Никитин неслется вперед бегущих в атаку солдат, что-то выкрикивает, но слов не слышно. Рядом с ним - разрыв снаряда. Лицо лейтенанта становится серым, глаза слипаются, как у умирающего воробышка; еще мгновение лейтенант дер-



Лейтенант Петр Тодоровский со своими бойцами

жится на ногах и тут же разом плашмя падает на землю.

Убит наш друг Юра Никитин.

...Вдоль колонны идущих солдат неслется американский «виллис». В нем сидит Сергей Иванов. Капитан! Узрев кого-то в строю, останавливает машину, кидается к лейтенанту с перебинтованной головой. Это - Петька. Они обнимаются, что-то быстро говорят друг другу, дружеское объятие, и «виллис» катится дальше.

Капитан Иванов, стоя в машине, еще долго машет рукой:

- Держись, дружище! - орет он.

...А мы с Яной еще у фотографа. Грустные лица, слезы на глазах, последний, прощальный поцелуй в полной,

почти ватной тишине. Женщина-фотограф замирает с поднятой крышкой в руке. Стало так тихо, что, казалось, можно оглохнуть от этой неожиданно наступившей тишины.

Закончилась война.

Случается ведь такое в жизни; в Германии уже после войны в нашу часть пришел новый комбат. По всему полку разнесся слух: зверь. Храбрый офицер, перенес Ленинградскую блокаду, два тяжелых ранения, говорят, был представлен к герою, но где-то там наверху не подписали...

Высокий, плоский, угрюмо-молчаливый с глубоким шрамом на щеке перед моими очами предстал наш бывший командир роты капитан Лиховол.

Пришел он за три дня до отъезда в Россию.

...Мокрый снег лепит глаза. Февральской ночью по тревоге нашу армию отравляют домой, в Россию. Темнота, полная неразбериха, распределяют вагоны, тут же меняют номера, начинается самовольный захват вагонов. Нашей 82-миллиметровой батарее достается пульман. Начинается погрузка: ноги скользят по вязкой грязи, перемешанной со снегом: крики, мат, драки за место. Ординарец капитана Лиховола на верхних нарах уже отгораживает для хозяина целый угол: двумя плащ-накидками занимает приличную площадь.

Наконец устроились, разместились, на рассвете эшелон трогается. И ни один человек во всей батарее не видел, как Лиховол пробрался в отгороженный ему угол.

...Эшелон медленно ползет вдоль спящего городка, машинист то и дело подает прощальные гудки. Стоим у раскрытых дверей теплушек, прощаемся с Германией. Вагоны бесшумно выгибаются на повороте, и вдруг перед нашими очами - маленькая железнодорожная платформочка. На ней несколько женщин под зонтиками. Сгрудились одна к другой, глядявляются в приближающиеся вагоны. Зашевелились, потяну-

лись к краю платформы. И вдруг оттуда на ломаном русском: «Колья-яя! Серьежа-а! Васьяа-а!..» И машут руками, машут безостановочно. Они стоят на самом краешке платформы (вот-вот свалятся!), пытаются разглядеть проплывающие мимо них лица солдат. Выкрики немощнее все громче, все настойчивее - русские имена, имена, имена... Уже доносится плач. Вскликивание. Сморкание...

Лес рук над зонтиками, покрытыми мокрым снегом, кажется, именно так они приветствовали появление Гитлера. Последняя ниточка вот-вот порвется навсегда, и не будет им ни Вани, ни Коли, ни Сережи...

Впереди всей группы, выпятив огромный живот, совсем юная немочка шлепает себя рукой по животу, кричит:

- Русь! Дизе Русь! Саша-аа! Дизе твоя киндер! - и заливается неудержимым смехом.

Эшелон выравнивается, платформа с немками медленно скрывается за поворотом.

Прощай, Германия!

А эшелон все катится и катится. Вот уже и Польша. На полустанках вымениваем у полячек бимбер на всякую трофейную мелочь. А так сидим тихо вокруг «буржуйки», травим всякую баланду: кто про свою зазнобу, кто мечтает о собственной корове, молодые едут домой жениться. Разговариваем тихо, чтоб, не дай Бог, не разозлить капитана, не нарушить его покой.

За все время пути никто ни разу не видел Лиховола. Как он там обходится с этим... ну... Правда, сержант Погорелин шепотом, чтоб, не дай Бог, не услышали, рассказывал: «Просыпаюсь ночью от какого-то стука. Открываю глаза, вижу: дверь вагона наполовину отодвинута, Лиховол со спущенными кальсонами сидит на самом краешке вагона, задница просто на весу, ординарец держит его за руки. Оправляется, значит. На ходу, значит, оправляется капитан Лиховол. Потом ординарец плеснул ему из

котелка вчерашнего чая, капитан с трудом привел себя в порядок, а на нары взобраться не может. Пришлось ординарцу головой упереться в его задницу, подтолкнуть раз-второй... Ноги капитана то и дело соскальзывают, наконец, взобрался».

И снова со стороны капитана ни звука.

Но вот однажды ночью там наверху послышалась возня, шепот ординарца: «Нельзя вам, товарищ капитан. Выспитесь, потом...» И снова возня, такое ощущение, что ординарец борется с Лиховолом. Как это он может себе такое позволить, думаем мы. Пребываем в трепетном ожидании.

Наконец сверху, из-под плащ-накидки, появляется распухшее, с красно-фиолетовым носом, до неузнаваемости испитое лицо капитана Лиховола. На мотив «Мурки» он поет:

*Речь держала баба,
Звали ее Муркой,
Ловкая да хитрая была.
Даже злые урки,
Те боялись Мурки -
Воровская жизнь у ней была...*

Мы застыли онемевшие. Так и остались с задранными вверх головами. Шок! Услышать такое от самого строгого, самого дисциплинированного - это был шок. Трудно поверить, что такое мог вслух произнести наш капитан, угрюмый, молчаливый Лиховол.

А он улыбочиво выглядывает из-под плащ-накидки, в зубах торчит папироса «Норд». Он желает ее прикурить от мерцающего огонька. На краю нар горит огарок свечи. Перед огарком лежит плоская крышка от котелка с ручкой. Вместо того чтобы перегнуть ее через нее и прикурить папиросу, капитан упорно тыкается со своей папиросой под ручку крышки. Уже в который раз лезет с папиросой в зубы под крышку, пока сержант Погорелкин отодвигает крышку, освобождая путь к огоньку...

Первый смешок раздался, когда капитан решил снова спеть нам тот же куплет.

Ординарец весь в поту тянет Лиховола в убежище, но тщетно - капитану необходимо общение.

- Друзья! - еле ворочая языком, говорит он. - У меня родился сын! Понимаете, сын! Давайте вместе споем: «Смелого пуля бои-ится, смелого смерть не берет!» - и протягивает солдатам полную кружку ликера.

В Россию добирались больше месяца. Задача младших офицеров заключалась в том, чтобы высокое начальство не узнало, что Лиховол в запое.

Оказалось, Лиховол из побежденной Германии вывез один-единственный военный трофей - столитровую бочку зеленого ликера. В ночной снежной суматохе ординарцу удалось незаметно вкатить бочку на верхние нары, вмонтировать в бочку резиновый шланг. Всю дорогу из Германии в Россию капитан Лиховол лежа откачивал этот ликер в свое нутро.

Потеряв чувство стыда перед рядовыми, с замутненными глазами, в обнимку с солдатами просиживал у «буржуйки», пел свои похабные куплеты, рассказывал про свою Ленинградскую блокаду, про то, как у него во взводе закончилась еда и он посылал в город солдат с автоматами на охоту. (В первые дни блокады такое случалось: тянет по улице лошадка бочонок с водой, из-за угла раздается автоматная очередь, ездовой в ужасе, а вокруг лошади изможденные люди с ножами, топорами уже разделяют животное.) Ну, так вот. Услыхал солдатик невдалеке выстрелы. Кинулся в тот переулок. А там уже заканчивается трапеза. И ему достается только конский член. Но ведь тоже мясо. Он приносит его Лиховолу, заправляет его в ведро, и чем дольше кипятят, тем все тверже и тверже становится отrostок...

...И катались на капитане верхом солдатики, издевались... И ничего с этим поделаться было невозможно. Катались, подгоняя, как лошадку, на том, одного взгляда которого когда-то боялись.

А вот и Россия.



Август сорок шестого года. Получаю первый отпуск за всю войну и без предупреждения приезжаю в Саратов. Шагаю по до боли знакомой горбатой улочке, ее не узнать - пушистые кроны деревьев перекрывают знакомый пейзаж. Вот здесь впервые я встретил Яну, на этом месте мы с Сергеем лежали ночью на снегу в сильный мороз, а вот и дом Яны.

Поднимаюсь на крыльцо, набираю полную грудь воздуха, стучу. Тишина. Стучу посильнее. Наконец слышатся шаги, твердые, уверенные. Распахивается дверь, на пороге стоит капитан. Весь в орденах, на гимнастерке три нашивки: две желтых, одна красная - ранения. Капитан сурово смотрит на меня, я - на него. Его лицо напоминает мне черты какого-то человека, мне кажется, я когда-то его знал. И вдруг капитан спокойно говорит:

- Петр?

- Володя-а?! - и кидаюсь в его объятия. - Добров! Володя? Жив!

Мы долго стоим обнявшись. Молчим.

Сидим за столом, полбутылки уже выпито. Капитан продолжает свой рассказ:

- Разжаловали в рядовые. Воевал. Одно ранение, второе... Вернули звание, дальше - больше. Третье, тяжелое ранение получил при штурме Дойч Кроне.

- Так и я ж там был, - вскакивает лейтенант.

- Да, крепкий орешек... Ну а дальше санбат, армейский госпиталь. Две неудачные операции, - Добров поднимает ногу, - не сгибается. И вот везение - стационарный госпиталь в Саратове.

У меня екнуло сердце.

- Да, удачно, - а сам боюсь смотреть капитану в глаза.

- Списан за непригодность к строевой службе. - Добров затыкнулся, выпустил дым через ноздри. - Вот так.

О Яне ни слова.

- Понятно-о, - протянул я. - А Яна?

Делаю вид, что ничего особенного не произошло. Но капитан, как я понимаю, живет здесь.

- Яна меня и выходила. После госпиталя мы сразу расписались, - торжественно закончил капитан.

- Понятно-о, - говорю и пытаюсь перевести разговор на другую тему: - А мама?

- Эйжбета умерла - крупозное воспаление легких. Они чуть не замерзли. Яна осталась одна, а тут как раз я...

- Понятно-о, - с трудом выдерживаю его взгляд. - А Яна что, работает, учится?

- Там же в госпитале, старшей сестрой.

- Без образования?

- Почему? Учится. Второй курс медицины. Заочно.

- Понятно-о.

Молчим.

- А я проездом, - говорю поднимаясь.

- Не дури! Сядь. - Добров наливает водки. - Ты ведь ничего не знаешь. Яна

была еще девочкой, когда я ее полюбил - пятнадцать лет. Слава Богу, выжил. Ты же перестал писать, а...

Больше не о чем было говорить. Мы чокнулись, пить не хотелось: я влил в глотку полстакана водки, рукавом гимнастерки вытер губы. Хмель ударил в голову, мне стало весело-весело.

- Все правильно, - говорю. И улыбаюсь, знаете, такой немножко вымученной улыбкой. Про свое тяжелое ранение и контузию молчу. Больше недели был в коме.

Добров достает фотографию, на ней он с Яной в загсе. Никакой там фаты или еще чего-то. Просто красивая молодая пара. Правда, Яна грустна, смотрит в сторону, а капитан лыбится.

- У меня на орденских книжках, знаешь, сколько денег накопилось?

- Знаю.

- Я все снял, такую свадьбу закатил! Вот смотри! - Подает мне пачку фотографий. Любительские, правда, но все видно: за столом человек пять, никого из знакомых. На столе картошка, соленые огурцы, самогон и пшенная каша...

Мне неинтересно на все это смотреть, да я практически ничего не вижу, думаю, как бы поскорее отсюда уйти. И

только я об этом подумал, как раздался стук, кто-то вошел в сени. Я вздрогнул, схватил бутылку и весь остаток водки вылил в свой стакан. Выпил, обернулся.

На пороге стоит Яна. ОНА! Та, которую я так долго искал, так долго ждал, так страстно целовал, так серьезно договаривались: если останусь жив, обязательно поженимся. И вот ОНА стоит, смотрит на меня и не верит своим глазам.

Такой красивой я ее еще никогда не видел: легкое летнее платье, глубоко декольтированное, округлые плечи, новая прическа и глаза - широко расставленные, хоть бери и разглядывай их по отдельности.

- Петя-аа! - кричит Яна и бросается на меня. Целует, целует. - Ты жив?! Какое счастье! Жив! - и снова целует в губы, щеки, глаза.

На лице Доброва растерянная усмешка: слишком эмоционально, слишком долго его жена целует лейтенанта. Яна не обращает на него внимания, ее слезы падают на лейтенантскую грудь, за воротник гимнастерки...

Глаза капитана.

Глаза лейтенанта.

Зареванные глаза Яны.